



**Я был коммунистом.
Больше не буду**



СНАС

REM

90-е ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ



...ам, что покушение тог
него и на «берни
ке бы... «ИСД
родного депутата Укра
мира... «ИСД
ла б... «ИСД
юфа... «ИСД
ерба... «ИСД
ем на... «ИСД
нецо... «ИСД
же см... «ИСД
пред... «ИСД
ональ... «ИСД
ександ... «ИСД

ЭТИ «ЛИХИЕ»

90-е

...дом... «ИСД
нил шо... «ИСД
лами у... «ИСД
кон... «ИСД
умер... «ИСД
ст... «ИСД
ел чу... «ИСД
Ни од... «ИСД
ний не... «ИСД
вом в... «ИСД
рынка... «ИСД



Коллектив авторов

CHAS REM. Эти «лихие» 90-е

«Издательские решения»

Коллектив авторов

CHAS REM. Эти «лихие» 90-е / Коллектив авторов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-935295-8

В сборник вошли рассказы замечательных современных писателей, свидетелей крупнейшей социальной катастрофы, разразившейся в девяностых годах прошлого века в самой большой стране мира. В основе каждого рассказа личный опыт автора, воспоминания и свое видение тех, стремительно улетающих все дальше в прошлое событий, круто изменивших жизнь страны и каждого из ее жителей.

ISBN 978-5-44-935295-8

© Коллектив авторов
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Леонид Костюков	7
Красная Пресня, 1991	7
Расщепление атома	11
Ефим Бершин	18
«Троянский конь»	19
Елена Черникова	28
Дом на Пресне	28
Сергей Шаргунов	36
Прямо к солнцу	36
Игорь Клех	47
Хроники 1999 года	47
За девять месяцев до того. Зима	48
Весна. Война	56
Конец ознакомительного фрагмента.	65

CHAS REM

Эти «лихие» 90-е

Дизайнер обложки Евгений Чернышов

Составитель Александр Грановский

© Евгений Чернышов, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4493-5295-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Что объединяет таких непохожих друг на друга авторов книги, живущих, к тому же, на данный момент в разных краях и иногда даже в разных государствах? Прежде всего, то, что мыслят и пишут они на одном языке, и то, что все они родом из одной, огромной страны, которой больше нет. Все они – живые свидетели крупнейшей социальной катастрофы, разразившейся в девяностых годах прошлого века на шестой части земной суши. Каждый из двадцати семи авторов этого замечательного сборника попытался осмыслить момент Великого Разлома и отразить этот факт своей биографии в своем творчестве. В собранных под одной обложкой рассказах – личный опыт, воспоминания и свое видение тех, стремительно улетающих все дальше в прошлое, событий.

Леонид Костюков

Красная Пресня, 1991

*Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.
Н. Гумилев*

Будучи москвичом, я никогда не жил в московской гостинице и ни разу не участвовал в экскурсии по городу. Откуда же тогда стрекочет в мозгу: «...булыжная мостовая Красной Пресни, обгаренная кровью трех революций...»? Или все же участвовал? Или вел? Я помню, как считал революции, загибая пальцы.

Главное – эта жуткая *смешанная* кровь – жандармов, рабочих, солдат, случайных прохожих. Тебя запишут в палачи, тебя – в жертвы. Потом, возможно, перепишут по-новому. Но, отдраивая булыжник, ты заведомо не отличишь кровь жертвы от крови палача. Так склеиваются две толпы в единый народ.

Я шел по ветреной Пресне, меняя булыжник на асфальт, широкую стержневую улицу на холмистые переулки, углубляясь, приближаясь к этим Грузинским, Тишинским. Я шел на сценарные курсы – учиться понимать, как устроено кино.

Нас учили: сценарий – оптический фокус, по обе стороны от которого – жизнь. Впрочем, это ненаучно. А научно: сценарий – это сорок машинописных страниц через два интервала.

Нас учили: в основе должна лежать простая история. У попа, например, была собака... И концепция зрелища: поп огромный, черный, съемка с колена, против солнца. Собака маленькая, жалкая, съемка с такой трехметровой штуки. Она торопливо ест кусок мяса. Кадык ходит туда-сюда...

Из местного фольклора: две мыши жуют пленку, одна спрашивает у другой: «Как тебе фильм?», другая отвечает: «Ничего, но сценарий был лучше».

За окном ветер гнал поземку, потом гнал сам себя, пустоту. Мы шли к метро переулками Пресни, ветер кинематографично надувал куртки, как паруса. Там и сям в живописных ракурсах мелькали высотные здания. Дымка: поземка, пыль, туман. Можно, наверное, использовать распылители, меловую крошку. Люди встают в очередь. Очередь дрожит на ветру. Автобус с трудом тащится мимо, приседая на заднее колесо.

Простая история: человек хочет научиться играть на скрипке, но у него обнаруживается талант к расстановке коммерческих ларьков. Он расставляет коммерческие ларьки и через десять лет покупает скрипку Страдивари, но играть на ней не умеет, а учиться нет времени.

Женщина выпала из толпы, пробует обледенелый древесный корень носком сапога. О чем она думает? Кто ее обидел? Кого она любит, кто любит ее? Я представляю...

Сценарий был лучше.

В небе мелькнула ворона, как соринка в глазу.

Был девяносто первый год, начало года. В интонациях Горбачева попадались оправдательные нотки. Смысл сводился к тому, что сценарий был лучше.

Я шел сквозь дрожащий влажный воздух. Где-то у Волкова переулочка начинало явственно пахнуть зверем. Рядом был зоопарк.

В семьдесят восьмом, в Ереване меня с несколькими артистками из матушкиного театра провели за кулисы тамошнего зоопарка. Экскурсию вел флегматичный армянин.

– Это рысь на пенсии, – сказал он. Рысь, не шелохнувшись, подняла на нас совершенно человеческие глаза.

– Уй ты моя маленькая, – умилилась актриса тетя Женя, – что ж ты такая старенькая!..

– Это пантера. Ласковый и нежный зверь.

– Уй ты моя миленькая, что ж ты такая ласковая!..

Я зачем-то просунул руку сквозь прутья ограды. Пантера тронула меня мягкой лапой.

– Это ягуар. Дьявол, а не зверь. Ни совести, ни жалости. Восемь лет пытался лапой открыть замок. Открыл, прошел в соседнюю клетку и отгрыз у рыси лапу.

Ягуар посмотрел на нас без выражения. Анфас он напоминал электричку.

– Уй ты мой миленький, что ж ты такой злобный!..

В московском зоопарке я не был много лет: сам уже вырос, а дети не родились или не доросли. Ходил мимо, умилялся доске насчет того, что здесь выступал Ленин. Доска висела прямо на железной ограде зоопарка, а может быть и теперь висит.

Как я теперь понимаю, в девяносто первом наше кино находилось в состоянии грогги, то есть недоумевало, шлепнуться лицом на ринг или еще постоять. Мой друг Миша с двумя такими же начинающими сценаристами сходил в гости к известному сценаристу И. Тот как бы дремал, но услышав слово «доллар», зажегся, как лампочка. Убедился, что доллар не ему, и вновь впал в анабиоз.

Наши мастера тщательно и пытливо исследовали голливудский продукт, стараясь понять, что же тут стоит миллионы долларов.

– Все вы хотите снимать, как Феллини, – учил нас известный режиссер М. – Но этому обучить нельзя. Зато вот этому можно.

И крутил перед нами тупую американскую короткометражку. Как она была сделана, и впрямь каждый понимал. Другой вопрос – зачем.

– На нашем курсе, – говорил М., – учились два гения – Шукшин и Тарковский, да еще я своим трудом кое-чего достиг. – И добавлял после небольшой паузы, с плохо скрытой гордостью: – Но они умерли, а я живу.

Загвоздка была в том, что для нас Шукшин и Тарковский не вполне умерли. Но это оставалось за кадром.

Сценарист Ч. Уделял внимание вторичным признакам искусства.

– Такая машина должна быть у настоящего сценариста, – говорил он, вылезая из подержанного мерседеса.

– С чего начался М., – рассказывали нам про другого известного режиссера, – он взял аванс под один сценарий. И работа не пошла. И вот я встречаю его, а он говорит: я хочу вернуть аванс!..

В этом мире вернуть аванс было примерно то же, что зарезать младенца. Избежать этого кошмара можно было, представив любую туфту обусловленного объема. Тогда договор расторгался, но аванс не возвращался.

– ... и я говорю ему – ни в коем случае! Ты себя опозоришь. Ты хоть жопой садись на машинку, но отстучи своих двадцать страниц. Он так и сделал. Прочли, сказали – гениально. И началось!..

Отчего-то эта деталь кочевала из легенды в легенду. Как из ахматовского сора, кино непременно росло из кича, дешевки. Ерунды. Надо было суметь попасть жопой по клавишам.

Мы выходили на улицу. Стояла нездоровая, сырая весна.

На рекламе значилось. КАМАЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД. Рядом торговец убеждал клиента: – Это же дешежка! Где еще такую найдешь?

– Этот идет до тюрьмы? – спросила нас пожилая женщина, с трудом поднимаясь на площадку автобуса возле Краснопресненской. Что ж, и до тюрьмы тоже. Неподалеку, на Ваганьковском, хоронили академика К.хлопоты поделили на многих получужих людей. Я был среди тех, кто ездил за крышкой гроба. На Шмитовском, в детской больнице мне пришлось забирать двухлетнего племянника. У меня даже не спросили документов. Вынесли молчаливого, беззащитного ребенка – вези, куда хочешь. Простые истории сами сочетались в орнамент, узор.

В беззубых проемах Пресни виднелся Белый Дом. Я помню, как его строили, – страшный остров на фоне фиолетового неба и полчища ворон.

По ту сторону Садового кольца я бывал в буфете ЦДЛ. Странное стоячее место, словно за кулисами литературы. Люди без возраста ожидают ангела, который подойдет к их столику и скажет вполголоса: «Ваш выход».

Ангел не скажет. Литературный процесс, претворение жизни в текст, переплелся с пищеварительным и усвоением алкоголя. Иногда кто-то встает, безумно оглядывается (будто ослепший или прозревший), замечает за дальним столиком дальних знакомых.

– Вы не помните меня? Я отгрыз вам лапу в семьдесят восьмом. У вас свободно?

– Садитесь.

Простая история. Сценарий был лучше.

Наступило лето и вместе с ним обсуждение наших работ. Молодых волков позвали на Совет Стаи. Седые самцы брюзгливо смотрели на нас. Нам не доставало новизны и простоты.

– Поймите нас правильно, – обратились учителя к Ф., – мы не против инцеста. Можно сказать, мы за. Вообще-то уберите все остальное. Пусть будет один инцест.

– Что такое инцест? – горячим шепотом спросил меня один провинциал.

– Кровосмешение, – ответил я. Кажется, он не понял. Я начал было пояснять, что кровосмешение не на булыжной мостовой, а... – но тут отцы плавно перешли к следующему.

– Это ново. Свежо. Охранник ведет ссыльного студента через тайгу. Только не надо студента – это укатит вас в политику. Пусть он будет уголовником. И не надо тайги, не надо так долго вести. А так – свежо. – Этот волшебный отзыв напомнил мне завет Введенского: «Считай каждый шаг мыши. Забудь слово „каждый“, забудь слово „шаг“. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь)».

Я огляделся. Молодежь старательно записывала замечания старших. Помню замысел, оцененный, как крепкий, – романтическую историю любви застенчивого мужчины к стальной женщине. Они меняют пол, как в кадрили, и все становится хорошо.

Я вышел на улицу. На фоне темно-красного костела бушевала зеленая листва.

Летом, в пору наших каникул, нарушился счет революций и кровь пролилась немного мимо Пресни. Я застал остатки баррикад, обугленный троллейбус, неправдоподобно яркие венки всерьез погибшим ребятам. Доцент Климов защищал Белый Дом – нарезал ветчину на бутерброды.

Осенью я зашел в зоопарк. Меня поразило обилие гривастых волков. Малость лисицы – я постоянно терял ее из виду. Неподвижность крокодила – вместо него можно было кидать в воду резиновый макет. Сходство медведя с мужиком в медвежьей шкуре. Складки на слоне. Старческое лицо макаки. Циничный вид антилопы.

Меня осенило: кино – это не простая история и не зрелище. Кино – это иллюзия. Я написал сценарий «Профессор Птичкин».

Девушка приходит к сыщику и говорит, что ее любимого парня обвиняют в краже. Чуть не сто человек видели его посреди улицы с мешком денег. Но он сказал девушке, что был в это время дома, а она ему верит.

Сыщик хочет верить девушке и въезжает в это противоречие: люди видели то, чего не было. Это была иллюзия, кино. Сыщик находит творца автономных голограмм, призраков, – профессора Птичкина. Я облюбовал для него один терем в Сокольниках – типичную лабораторию маньяка.

Но все же выясняется, что парень солгал. Он не грабил, но и не был дома. Он был у другой. Вся интрига, вся фантастика – все оказывается зря. Парень не любит девушку. Девушка не любит сыщика.

В конце там звучала песня, и мне нравился один кадр. Сыщик хочет поговорить с человеком, подходит к одному, стоящему спиной, трогает его за плечо, тот оборачивается, но снова оказывается стоящим спиной, как монета с двумя гербами.

Сценарий никому не понравился.

Осенью всплыло такое выражение – уходящая натура. Я бродил по улицам Пресной Красни (так говорил мой друг Миша) и снимал, снимал на подкорку все подряд: стариков, женщин, детей, белье на балконах (как флаги), флаги (как белье), ржавый остов машины, руины дома, фундамент нового.

К зиме я уволился. Я понял, что не люблю кино вообще. Я люблю хорошие фильмы и не люблю плохие, а надо просто торчать на движущихся картинках.

Я торчу на бегущей строке.

Я уходил с этих Тишинских холмов, последний раз раскручивал местные переулки, и вдруг ноги вывели меня к планетарию. Конечно! Не просто зоологический сад, а зоологический сад планет!

Я спешил и не вошел внутрь. Зато вспомнил, как ходил туда в детстве с отцом, как поднял рыло, как впервые уяснил отличие планеты от звезды, как люди в россыпях звезд находили простые фигуры.

Я зачем-то посмотрел вверх. Небо было белым-белым и начиналось прямо тут, метрах в трех-четырех.

Расщепление атома

*И казалось, в воздухе, в печали,
Поминутно поезд отходил
Б. Поплавский*

Ничто не убивает мечту так же верно, как воплощение мечты.

Верность дешево ценится, потому что нет удобного момента ее оценить.

Стойкость похожа на флегматичность.

Новый Фауст готов остановить любое мгновение.

Иногда ему кажется, что он близок к абсолютной внутренней точности, совпадению с собой. Что последует за этим – взмах резонансной волны? смерть? новая жизнь? А иногда все путается, забывается, и будущее снова просторно и мутно. Каким ему и положено быть.

Он заходит в гости к другу. Друг как раз нынешним утром получил нечто роковое – то ли вызов, то ли визу, – и его дом полон каких-то двоюродных людей. Друг принимает его в дальней комнате. Разговор идет о вещах важных, но не актуальных.

Открывается дверь. Входит хозяйка, продолжая протирать тарелку.

– Звонил Григорий, – говорит она. – Он заберет холодильник завтра в четыре.

Хозяин коротко улыбается ей, фиксируя прием информации, и возвращается к своей мысли.

– Структура космоса...

Завтра в четыре, то есть спешки нет. Просто расщепляется жизнь – то ли вдоль, то ли поперек, – и в новой реальности Григорий забирает холодильник, а в старой, типа видеокассеты, рождаются галактики и уточняются акценты.

Мы ведь тоже не ждем, когда кончится реплика в телевизоре.

Ты уходишь в прошлое, становишься приятным воспоминанием, фрагментом отечества.

Ты отнесен далеко, вмонтирован в кухню и отныне всегда будешь пить черненький кофе и говорить что-нибудь умное, но как бы без звука.

Раньше тут была световая реклама «Станки из ГДР». Теперь ничего этого нет.

Зато в минуте ходу отсюда, в подземном переходе, среди объявлений о пропаже собак и детском питании на листке бумаги нацарапано: «Продается башенный кран». Он готов сделать обобщение, но удерживается от этого усилием воли.

Новый вещи походи на старых, полузабытых людей.

Ксерокс ерзает туда и сюда с листком бумаги. У Робина тоже была привычка ерзать, устраиваясь на скамейке.

Принтер перед работой издает утробный звук. Котик тоже любил глубоко откашляться.

Алексей от избытка энергии мелко, почти неуловимо тряс ногой. Он вспомнил Алексея, глядя на центрифугу «Фея».

Всех этих людей так или иначе нет: кто уехал, а кто преобразился до самых глубин.

Его, впрочем, так же превосходно нет, как и остальных. Зато у него есть двое прелестных детей, веселых и кротких: мальчик четырех лет и девочка двух.

А когда мальчику было два года, он не был ни прелестным, ни веселым, ни кротким; он постоянно скандалил и орал, долго не начинал говорить и оставался лысым.

Так отчего же он вспоминает того невыносимого малыша; отчего даже самое мягкое исчезновение если не ранит, то задевает его?

Разумного ответа нет. Есть, однако, много неразумных ответов.

Ахматова не любила эмигрантов. Если говорить просто, то она считала их дезертирами, потому что родину, как и жизнь, почитала господним даром.

Нельзя сказать, чтобы Георгий Иванов не любил тех, кто остался в СССР. Он им скорее слегка сочувствовал и легко же презирал, потому что сознательно отказался играть в скотском спектакле любую роль: ливерную массу, пушечное мясо, лагерную пыль. А еще он понимал: родины больше нет.

Они не поняли друг друга – не потому что не могли, а потому что не хотели. Человеческая жизнь вмещает в себя одну трагедию целиком.

Мы – отсюда – помимо трагедии отечества и трагедии изгнания – видим третью, которую можно назвать трагедией расщепления, и переживаем ее, может быть, острее, чем они.

Он сидит в маленьком кафе возле Павелецкого вокзала и вполуха слушает разговор трех мужчин, сидящих за соседним столиком. Мужчины средних лет (то есть чуть старше его самого) и явно задуманы господом как инженеры, но решили избрать стезю коммерции. Ему и больно, и смешно их слушать – с такого абсолютного нуля они начинают; так отчетливо не нужны оказались их знания. Навыки, привязанности – словом, сорок первых лет жизни.

– Что еще можно?

– Ну... торговать.

– А ты умеешь?

– А чего тут уметь?

– Ну... это ты не совсем, вероятно...

– А что такого?

– Нет, господа, это исключено: рэкет.

– Да. Это да.

Они прямо-таки ухватились за этот рэкет. Их энтузиазма хватило на то, чтобы назначить встречу и встретиться. Ему очевидно. Что здесь и сейчас не рождается новый синдикат, даже мертвый. Впрочем, им это тоже очевидно.

– Что нужно народу?

– Хлеб.

– ... и зрелища.

– Зрелища в следующий раз. Займемся хлебом.

– Откроем пекарню...

– Печь хлеб.

– Нет.

– Можно покупать готовый хлеб, а потом только разогревать в печке.

– Когда он остынет, он становится как кирпич.

– Не все ли равно? Они ведь уже купили и ушли.

– А если они вернуться?

– Об этом я не подумал.

Он старается сформулировать поточнее, получая кайф от точности: инженеров загнал в кафе не голод, а унижение, причем не степень унижения, а его планомерность.

Когда его спрашивают о его собственных коммерческих проектах, он отвечает одно и то же: много людей на всей планете не едят мяса, потому что им противна идея убийства; ящерица, пугаясь, откидывает хвост; вывод – создание фермы ящериц с быстрорастущими хвостами; специальные служащие пугают ящериц и подбирают хвосты; из хвостов готовится специальный паштет под девизом «Мясо без убийства». Он излагает проект без улыбки, толково и сухо. Последнее время его все чаще принимают всерьез.

Мандельштам и Георгий Иванов в юности были так дружны, что завели одну визитку на двоих. Осенью двадцать второго года Иванов уехал навсегда, и больше они не встретились. Если бы это был мексиканский сериал, Мандельштам и Иванов разрезали бы визитку пополам, а в сотой серии Горбачев склеил бы ее собственной слюной. В жизни визитка попросту пожралась, по образному выражению Державина, жерлом вечности, тем более что в двадцатом веке жерло работало, как пылесос.

До Георгия Иванова доходили советские газеты и соответственно те стихи Мандельштама, которые печатались в советских газетах. Иванов имел все основания думать, что одаренный поэт Мандельштам сгнил заживо в мертвой России, сломался, потерял то, что имел.

Сам Иванов стал великим русским поэтом уже в эмиграции, и Мандельштам так и не увидел его настоящих стихов. Мандельштаму, должно быть, все представлялось логичным и по-своему справедливым: пустой блеск ранних стихов Иванова и его выморочная жизнь в Европе – в скучноватом раю второго разряда.

Зажатый среди других тел в очередном автобусе, он смотрит куда глаза глядят, хотя бы потому, что менять угол зрения неудобно и незачем. Среди прочего – кусочек окна; автобус, крупно качнувшись, зачерпывает окном изрядную порцию Москвы: резко сгибающаяся вниз боковая улица, вдаль пышная зелень маленького парка, чешуйка Москвы-реки. Ему знаком этот ландшафт, но он испытывает чувство сильнее, чем просто узнавание. Не спеша перебрав варианты, он не без удивления понимает, что это и есть ощущение родины, иначе говоря, патриотизм.

На тихой зеленоватой улице ему встречается бывший сокурсник Леопольд. Лет десять назад Леопольд торжественно бросил математику и занялся литературой, но едкая химия времени растворила этот поступок, и теперь Леопольд натаскивает по литературе тех же оболтусов, которых его бывшие сокурсники натаскивают по математике. Леопольд, однако, бодрится.

Речь, естественно, заходит об общих знакомых, в разговоре мелькают стипендии, доллары, гранты. Жизнь, как бы в процессе решения некоторой задачи, подвела всех под общий знаменатель.

– Дети капитала Гранта, – шутит Леопольд.

– А нашему брату не положен докорм!

– Почему же? – Леопольд суетится, вытряхивает из сумки листок. Из листка следует, что немецкая фирма – или организация? – устраивает конкурс для русских писателей как раз и возраста и масштаба Леопольда. Девиз – чемодан.

– Главное в конкурсе, – энергично говорит Леопольд, – бежать в свою сторону, тогда точно придешь первым. Девиз надо понимать буквально. Все, понимаешь, напишут о встречах там, о разлуках (русский язык у Леопольда всегда хромал), а надо – о чемодане. Понял? Мы

в студии, как сейчас помню, писали этюд на тему «маленький человек», так все запутались в шинели, а мой герой просто был вот такой вот. – Леопольд обозначает полтора метра от пола и жизнерадостно смеется.

– И как? Хвалили?

– Ругали. Но ведь дело не в этом.

Неожиданно для себя он кивает, списывает у Леопольда адрес немецкой фирмы, а едва придя домой, добросовестно начинает писать шпионскую историю с подменной чемодана, потом понимает, что, как только закончит ее, выкинет в мусорное ведро, а поняв, не заканчивает.

Он очень часто, чуть ли не регулярно встречал знакомых в метро. Потом некоторые из них совершенно вывелись. Проанализировав ситуацию, он выделил две главные причины «невстреч»: эмиграцию и покупку машины. Ну еще среди гипотетических вариантов были смерть и паралич, но это не подтвердилось на практике.

В частности, из метро исчезли девушки не то чтобы самые красивые, но с определенной фигурой: очень высокие за счет длинных ног; просто великанши остались. На улице он однажды видел, как девушка новой волны садилась в автомобиль, сложив ноги чуть ли не в трех местах; в метро ей было бы удобнее.

У него есть двое знакомых, из которых один твердо решил уехать в Канаду, а другой безо всяких решений твердо оставался в Москве. Каждая их встреча почти моментально переходила в спор: ехать или оставаться, как если бы они были гидрой о двух головах. Их не смущало то, что все серьезные решения в жизни они принимали порознь, например, каждый женился именно на своей жене.

Они расстанутся в момент окончания спора.

Отъезд – репетиция смерти в понимании Гамлета, то есть шаг в неизвестность, где тебя ждут: сны, блаженство или пустота. Сведения с того света ненадежны. Сведения из Нового Света противоречивы.

Ахматова, муза плача, сохранившая верность своей монументальной родине и несчастному народу, всерьез подумывала о четвертом замужестве и к семейной жизни относилась скорее иронично, чем трепетно. Георгий Иванов, циник, обрывающий корни так же легко, как лепестки, всю зрелую жизнь любил одну женщину – Ирину Одоевцеву.

У него есть цикл поздних стихов, посвященных ей; по стихам кажется, что они расстались. На самом деле Георгий Иванов прощался с жизнью.

Они уехали отсюда более или менее зрелыми людьми в начале двадцатых годов.

Реальная возможность вернуться (минуя гиблый вариант Марины Цветаевой и рыночный Алексея Толстого) представилась в начале девяностых.

То есть даты были подобраны так, чтобы никто не вернулся.

Впрочем, вернулась Ирина Одоевцева – глубокой старухой, чтобы умереть через пару лет, но в Ленинграде, более того – в Санкт-Петербурге.

Если бы не она, семидесятилетняя пауза производила бы впечатление избытка, сталинского слоновьего срока – семьдесят лет, двести, триста, с запасом, с верхом.

Ирина Одоевцева, в одиночку одолев дорогу скитания, как бы подтвердила точную злонамеренность исторических лет.

Родители его знакомой, евреи, уехали в Германию, мотивируя это тем, что немцы после событий тридцатых-сороковых годов испытывают что-то вроде вины перед евреями и создают им неплохие условия жизни.

Он видел на фотокарточке чудесный домик с садиком – так, что не поймешь, карточка это или открытка.

Он вспомнил, где видел такие домики и садики, – в телерепортаже о жизни немецких ветеранов второй мировой.

Он вспомнил дальше – рай Ивана Карамазова, где генерал целуется с матерью замученного им младенца.

С другой стороны, если его спросят, что он может предложить, он пожмет плечами и улыбнется так называемой виноватой улыбкой – хотя его вины во всем этом заведомо нет...

Ничего, ровным счетом ничего.

Мягкий климат европейских морей, непроницаемо голубой небосвод, все эти розы и соловьи наводили Георгия Иванова на две мерцающие мысли, точнее, на два слова: каторга и рай.

Каторга, но за вычетом сознания собственной правоты, непреложного скорбного труда, родины на тысячи верст вокруг, песен, холода, снега.

Рай, точнее, вырванный из времени Эдем, похожий на лепестки роз, которыми засыпали насмерть какого-то средневекового князя, «отвратительный вечный покой»...

Осип Эмильевич Мандельштам, глубоко нормальный человек, не может не замечать нормальный человеческий выход: если он всем так мешает, отчего не отпустить его, не разомкнуть плавучую тюрьму на любом повороте Камы, не позволить просто уйти внутрь бесконечного леса, раствориться в страшном просторе, открывающемся на восток... Чем опасен один человек – атом в империи?

Очень, очень опасен, поэтому ему постепенно обрубая жизнь во времени и пространстве, отнимают город за городом, крымский берег... Ему не хватает воздуха, его мучает удушье. Последний арест настигает его в санатории под станцией по имени Черусти – как из плохого триллера. И уже по ведомству смерти он получает желанный простор – дальневосточный лагерь и каторжный исход.

Весь год он мечтал смотаться весной в Ленинград, то есть в Санкт-Петербург, просто так, на два-три дня. Сегодня кончается весна, стало быть, поездка явочным образом не состоялась. Он удивляется мимоходом твердости этого кусочка небытия: для поездки не нашлось ни повода, ни времени, ни денег, ни даже мощного желания, которое решило бы остальные проблемы. Нет так нет.

Раньше он был куда свободнее в перемещениях, более того, история и география, искажая, увеличивают эту свободу в прошлом: оказывается, он бывал и за границей – на Украине, в Латвии, в Армении...

Бывает так: москвич, живущий на окраине, находит себе работу около дома. После недолгой радости он замечает, что попался в ловушку: транспортное удобство оборачивается

замкнутостью пространства, несвободой. Меняется лексика. Он говорит: «В четверг я собираюсь поехать в Москву».

Если существует его поколение, то оно никогда не делилось по политическим пристрастиям, примерно потому же, почему не делят на ноль. Зато оно медленно распалось на тех, кто уехал, и тех, кто остался.

Тех, кто уехал, на новых местах объединил великий русский язык, приятные воспоминания, специфическая ирония, особая мимика глаз и множество других летучих мелочей. Тех, кто остался, не объединяло ничто новое.

Он, как на кошмарном экзамене, зачем-то бегло вспоминает, что знает на эту тему.

А. назанимал денег, купил принтер и уехал в Америку.

Б., наоборот, назанимала денег на поездку в Италию и вероломно осталась в Москве.

В. Весь первый курс играл в карты, проиграл кучу денег, выл, обещал наложить на себя руки, наконец, далекие от карт друзья, чтобы спасти его честь, собрали ему требуемую кучу, после чего В., не расплатившись ни с кем, уехал в Сибирь. Страшная, почти мифологическая деталь этой истории: трагический сибиряк стал богаче ровно на столько, сколько проиграл.

Г., чемпион в своем роде, дважды за последние пять лет эмигрировал навсегда и дважды навсегда вернулся, каждый раз действуя отчаянно и с мукой, как если бы менял пол.

Д. так и не смог выбрать себе историческую родину.

Е. купил дом на Мальте и заскучал.

Ж. убыла на ПМЖ...

Я...

В какой-то момент ему показалось, что он начал что-то понимать, как будто точки сложились в осмысленный узор, а потом точек стало слишком много, и картинка потеряла информационную ценность. Все = ничего.

Может быть, дело в подробностях? А. закрывал глаза, когда смеялся. Г. Любил ходить в шортах, обнажая мудрые седые ноги. Он слегка шепелявит. Я слегка заикаюсь.

Трамвай, как божья коровка, ползет по выпуклому мосту через Москву-реку. Народу сегодня немного, так что он обладает свободой перемещения – в масштабах трамвая. Справа – сувенирный кремлевский пейзаж. Слева – массивный взлет высотного здания, рваное клочковатое небо, серая вода в мелких чешуйках, угрюмый строй домов на том берегу; бульжник, асфальт, гранит, еле заметный отблеск – то ли ржавчины, то ли крови. Согласно законам перспективы все медленно вращается вокруг невидимой оси и так прекрасно, что...

А, собственно, что?

Георгий Иванов проходит по набережной Сены.

Я думаю, он не был одарен слепым дарованием вундеркинда – иначе откуда бы взялись ранние плоские стихи? Значит, не великий талант, а великая судьба поэта выпала, как в лотерее, этому обыкновенному человеку с очень обыкновенной фамилией.

Он стоит и смотрит в воду.

Всякая форма материи отвратительна вблизи.

Время устроено так, что ничего нельзя вернуть.

Пространство устроено так, что никуда нельзя вернуться.
Русский таксист отвезет его в кафе.
Теплый ласковый ветер слегка шевелит листву.

Ефим Бершин

Во второй половине июня 1992 года, когда, казалось, все устали воевать, забрезжила надежда. Молдавия и мятежное Приднестровье заключили, наконец, перемирие. Из правобережного города Бендеры были выведены все войсковые подразделения, остались только молдавская полиция и приднестровская милиция. Мир был близок.

Из Кишинева я добрался автобусом до Новых Анен, что расположены в тридцати километрах от Бендер. Но дальше, к моему удивлению путь оказался закрыт. Дороги задышались под танковыми траками и колесами бронетранспортеров. Асфальт плавился под сапогами тысяч новообращенных солдат. Какой-то пожилой молдаванин, проклиная жару, пыль и копоть, довез меня проселочными дорогами до южной окраины Бендер, тщательно объезжая не только Кишиневское, но и Каушанское шоссе, которые были забиты войсками. Опустился вечер, но жара не спадала.

– Прощай. – Сказал, высаживая меня, водитель. – Я назад пока не вернусь – видишь, что творится. Поеду в Одесскую область. Хочешь со мной?

– Да нет, спасибо. Вроде объявили перемирие. – Ответил я, сам себе не веря. И поплелся к центру.

Завтра была пятница, 19 июня 1992 года.

«Троянский конь»

– Возьми автомат! – Орал на меня гвардеец.
– Не возьму. – Уперся я. – Я – журналист, мое дело писать.
– Возьми, дурак! Если они сюда ворвутся, разбираться не будут, кто журналист, а кто солдат.

– Не возьму. Если они сюда ворвутся, мне автомат не поможет. – Проорал я в ответ.

В это время еще один тяжелый снаряд потряс стены, и гвардеец побежал куда-то наверх. Разрывы практически не затихали. По зданию били прямой наводкой, и было не понятно, как оно еще не рухнуло. После очередного грохота погасла тусклая лампочка. Стало совсем темно. Знобило. В подвале было сыро и прохладно, а я – в одной футболке. Или это не от холода? Темноту пробил луч фонарика. Двое гвардейцев принесли раненого и положили на мешки. Сидевшие у стены женщины с причитаниями кинулись к нему. Фонарь нам оставили, но он тускнел прямо на глазах – садились батарейки.

Сидеть в этой темноте, ожидая, пока от очередного разрыва на голову рухнет потолок, было бесполезно. Я знал, что из подвала был выход на улицу – во дворы, в сторону Преображенского собора и рынка. И догадывался: если бьют танки и бронетранспортеры, то, скорее всего, со стороны площади. С тыльной стороны здания подойти им было трудно. И двинулся к выходу, переползая заграждения. Только перевалился через мешки с песком – сверху на голову полетели куски штукатурки и камней. Это снаряд пробил внутреннюю перегородку здания. Подождав несколько секунд, бросился бежать в темноту, к собору. Дверь оказалась открытой. Навстречу бросился человек в рясе – отец Леонид. Я уже знал его, заходил раньше.

– Быстрее, быстрее, пожалуйста. – Попросил он. – Прикрывайте дверь.

Среди ночи в церкви он был не один. У стен, прямо на полу, сидело несколько женщин. На руках одной из них во сне всхлипывала девочка. Отец Леонид погладил ее по волосам. Женщина разрыдалась.

Тонкие свечи поминальным огнем выхватывали лики на стенах. Черные тени плясали под куполом в такт разрывам.

Механизированные колонны Национальной армии Молдавии ворвались в разблокированный и безоружный город сразу с нескольких сторон – из Варницы, Хаджимуса, по Кишиневской и Каушанской трассам. Почти без всякого сопротивления. Но перепуганные собственной смелостью экипажи танков и бронетранспортеров без всякой нужды заливали город свинцом, расстреливая по пути каждого, кто попадался на улице. Били по домам. Люди гибли в постелях, на кухнях, во дворах. БТРы слепо въезжали в витрины магазинов и крушили все подряд – стекла, прилавки, хлеб, помидоры и людей, людей, людей...

К десяти часам вечера почти весь город был захвачен. Разрозненные группы приднестровских гвардейцев и милиционеров, лишённые управления, самостоятельно пытались противостать бронированной армаде, чтобы хоть как-то замедлить ее продвижение. Но под шквальным огнем бойцы отступили вначале к речному порту, а затем и дальше – к крепости. Оставался маленький непобежденный островок – здание горисполкома. По нему били с двух сторон из пушек и пулеметов. Здание сотрясало от разрывов. Но его защитники не сдавались. Они отстреливались из окон и подвалов. Более того, они умудрялись устраивать вылазки. Несколько человек сумели пересечь площадь и закрепиться за витринами разгромленного магазина. Отсюда они подбили два бронетранспортера. Они понимали, что кроме них в городе практически некому больше сопротивляться. И не сдавались. Они были последней надеждой. Но боеприпасы таяли на глазах. Силы истощались.

А молдавская армия тем временем выкатилась к Днестру, захватила подступы к мосту и выставила противотанковые пушки «Рапира» в сторону левого берега – на тот случай, если оттуда попытаются прорваться на помощь. Но никто пока не рвался. Молчала и Бендерская крепость, внутри которой дислоцировалась ракетная бригада 14-й российской армии.

Густая южная ночь накрыла заваленные трупами улицы Бендер.
Это был вечер пятницы 19 июня 1992 года.

Операция называлась «Троянский конь». Роль «коня» в данном случае исполнила молдавская полиция, расположенная в самом городе. Примерно в половине шестого вечера четверо гвардейцев из Тирасполя на «Москвиче» подъехали к зданию Бендерской типографии, чтобы забрать заранее заказанные листовки, которые предназначались для распространения на Дубоссарском участке фронта. К этому времени именно там боевой дух молдавских солдат, встретивших ожесточенное сопротивление дубоссарцев, сильно истощился. Поэтому и было решено воздействовать на них дополнительно. Пока двое получали листовки, полицейские напали на машину, в которой оставались майор Ермаков и водитель Рябоконь, и захватили их в плен. Они оцепили типографию, перекрыв все входы и выходы, и потребовали выдачи укрывшихся там двух гвардейцев. Проезжавшая в это время мимо патрульная машина милиции была обстреляна.

Видя такое дело, группа гвардейцев кинулась выручать своих, но попала в заранее подготовленную засаду. Погиб оператор бендерского телевидения Воздвиженский, пытавшийся заснять нападение. Шестеро гвардейцев были ранены. На переговоры полицейские не шли. Председатель горисполкома Вячеслав Когут позвонил министру внутренних дел Молдавии Анточу и попросил остановить провокацию. Тот не отреагировал. Позже Анточ заявит, что ему позвонил какой-то житель Бендер и попросил о помощи, поэтому он отдал приказ войти в город. Если бы это было так, то Анточ стал бы единственным руководителем в истории, который захватил город по просьбе «какого-то жителя». Заварушка между полицейскими и гвардейцами продолжалась не более получаса. А еще через час бронированные колонны ворвались с нескольких направлений. Ни одна страна в мире не способна за час принять решение, провести мобилизацию, вооружить и обучить солдат, обложить со всех сторон город и нанести удар. Все это, повторяю, за час. И все это якобы сумело новообразованное государство Молдавия. На самом деле молдавские руководители не шли на переговоры потому, что мощная группировка уже была приведена в движение по заранее подготовленному плану, и остановить ее было невозможно.

Вводя в город бронетехнику и устроив кровавую бойню, президент Молдавии Мирча Снегур тотчас разразился посланием к главам государств и правительств:

«Ваше Превосходительство,

ставлю Вас в известность, что 19 мая 1992 года в 18.00 по местному времени вооруженные силы России в лице дислоцированной на нашей территории 14-й армии... начали неприкрытую агрессию против Республики Молдова, против законных сил правопорядка...»

В спешке, видимо, забыли переправить май на июнь. Значит, захват готовился еще больше месяца назад, сразу после того, как было достигнуто четырехстороннее мирное соглашение.

В районе лодочной станции под покровом ночи уцелевшие защитники города организовали переправу через Днестр. В крошечной темноте они уходили в сторону Паркан. В раскатах громовой канонады плеск весел был не слышен. Мутная днестровская вода тускло отражала зарево пожаров. Стремительное течение быстро относило лодки к берегу. Наконец под днищами зашелестели прибрежные камыши. Забрезжил ранний июньский рассвет.

К четырем часам утра двадцатого июня армия Молдавии с помощью бронетранспортеров и танков захватила мост через Днестр и попыталась сходу продвинуться дальше – в сторону Тирасполя. Но жители расположенных сразу за мостом болгарского села Парканы успели заблокировать подступы к селу железобетонными плитами, на одной из которых было написано: «За малую Софию!» Подтянулись гвардейцы из Тирасполя. На подступах к Парканам завязался бой. За село и за мост.

Пока он продолжался, минометы, установленные в селе Липканы, заваливали жилые дома минами. Бендерчан расстреливали из танковых пушек, самоходных артиллерийских установок (САУ) и бронетранспортеров. Одна из мин, «промахнувшись», угодила в Бендерскую крепость – прямо в склад горюче-смазочных материалов. От мощного взрыва погибло несколько десятков российских солдат. Но армия по-прежнему выполняла приказ и «не вмешивалась». Ближе к полудню начался штурм крепости со стороны города. Она была подвергнута минометному обстрелу, а следом, преодолевая давно пересохшие рвы, кинулись волонтеры и отряд полиции особого назначения. Российские солдаты и офицеры гибли и получали ранения, выполняя приказ «не стрелять». Наконец, нервы не выдержали. Первой начала отстреливаться спрятавшаяся в районе крепости горстка гвардейцев. Потом, не дожидаясь приказа из Москвы, ее поддержали автоматными очередями из-за стен. А штурмующим явно не хватило решимости и отваги. Штурм захлебнулся.

А горисполком продолжал обороняться, и оборона эта в новейшей приднестровской истории получила название «Бендерское сидение».

Ровно за час до того, как молдавская армия захватила подступы к мосту, через него проскочила группа черноморских казаков во главе с атаманом войска Бондарчуком и прибыла к зданию исполкома. В нем в это время находились международные наблюдатели, глава администрации города Вячеслав Когут и обслуживающий персонал – от немногочисленной охраны до секретарш и уборщиц. Разобравшись в обстановке, казаки приняли решение защищать здание – символ приднестровской власти в Бендерах.

Разбившись на пятерки, и отправив одну группу на защиту узла связи, они приготовились к обороне и стали ждать. Штурм начался около полуночи. На площадь выехали бронетранспортеры и принялись расстреливать здание. К ним на помощь подтянулась артиллерия. Расстреляв боезапас, пушки откатились в ожидании новых припасов к зенитным установкам. Однако колонну машин с боеприпасами, двигавшуюся мимо узла связи, уничтожили из гранатометов засевшие там казаки. Оборонявшиеся получили передышку. Вскоре начался новый штурм, который продолжался около суток без перерыва. Положение было критическим. Тогда группа казаков во главе с походным атаманом полковником Дригловым проскочила во двор расположенного напротив магазина, откуда можно было контролировать подступы к исполкому со стороны сразу двух улиц – Советской и Суворова. Используя столь выгодное положение, казак Олег Оттингер подбил сначала один БТР, а потом и другой. И уже после этого был срублен пулей снайпера. Полковник Дриглов попытался вынести тело Олега, но в него была брошена граната. Полковник погиб. Следующей жертвой стал кошевой атаман Сороколетов. А выскочивший за стены здания с гранатометом в руках хорунжий Ергиев был срезан очередью из крупнокалиберного пулемета. Казаки несли потери. Положение казалось абсолютно безвыходным. Но они не сдавались. И не сдались. Здание Бендерского горисполкома молдавская армия так и не взяла.

В это время исполненные ужаса приднестровские бабы в Тирасполе напали на 59-ю стрелковую дивизию 14-й армии. Они заблокировали штаб и танкодром, потребовав оружия. Командующий армией генерал Неткачев не давал, ссылаясь на приказ Ельцина. Тогда стали

оттеснять часовых. Часовые (не без ведома некоторых не выдержавших офицеров) отступили от складов, и несколько единиц бронетехники попало в руки казакам и ополченцам.

Сходу, без всякой подготовки, не отстегнув даже запасных баков с горючим, они ринулись тремя танками в лобовую атаку на мост. Первый же снаряд «Рапиры» угодил именно в пристегнутый сбоку запасной бак головного танка. Машина вспыхнула, развернулась и поползла назад, к Парканам. На полпути из нее выскочил невредимый экипаж. Танк еще долго догорал над водой.

Уже в бою выяснилось, что добытые в 14-й армии танки совершенно не готовы к боевым действиям. Пулеметы на них отсутствовали, орудия не были пристреляны, системы управления не работали. Обладая новейшим вооружением, Неткачев сделал армию безоружной. Поэтому прямо на парканских улицах, на подступах к мосту через Днестр, местные умельцы ремонтировали технику, приводили ее в боевую готовность и тут же снова отправляли на мост. Со второй и третьей попыток танкам удалось ненадолго прорваться на правый берег и уничтожить несколько орудий и бронетранспортеров противника. Однако закрепиться не удалось – не было поддержки со стороны пехоты. Наконец, прибыл батальон ополченцев под командованием подполковника Авчарова, а с ним – бронетранспортер и зенитная самоходная установка «Шилка». Предварительно накрыв огнем молдавскую артиллерию за мостом, приднестровцы на двух танках и одном бронетранспортере, груженном боеприпасами для защитников бендерского «Белого дома», под прикрытием ополченцев и казаков снова бросились на мост. И снова первый танк был подбит. Однако БТР с казаками на броне вырвался вперед, приняв основной огонь на себя. Противотанковая граната разорвалась рядом, сбросив взрывной волной казаков. Несколько человек погибли. Но сам БТР под шквальным огнем и на предельной скорости выскочил на Тираспольскую улицу Бендер и помчался к центру. Идущий за ним танк свернул на улицу Суворова и двинулся туда же, отчаянно давя по дороге артиллерию противника. Улица Суворова превратилась в кладбище искореженного металла. К восьми часам вечера двадцатого июня БТР и танк добрались до горисполкома и пришли на помощь его защитникам.

А в ночь на двадцать первое ополченцы, гвардейцы и казаки ринулись на новый штурм моста и прорвали оборону. Среди молдавских солдат началась паника. Бросая оружие и боевую технику, они начали разбегаться. Полицейские открыли огонь по бегущим, по своей же армии, пытаясь остановить беспорядочное отступление. Но было поздно. Молдавские формирования отступили от центра. Город был деблокирован.

Оглушенная очередным разрывом, моя спутница швейцарская журналистка Мэри присела в ужасе посреди мостовой, зажав руками голову. Пули свистели, как молдавский флуер, под барабаны мин и снарядов. Я с трудом оторвал ее руки от головы, испугавшись, что она ранена. Нет, вроде цела. Схватил за руку и одним рывком – к подбитому молдавскому бронетранспортеру. Залегли.

– Кто тебя, дуру швейцарскую, сюда пустил!

– Это моя работа, – прокричала она обиженно, с трудом вдавливая немецкое «р» в русские слова. – Меня сопровождали ребята, но они остались в Одессе.

Ничего себе сопровождают. Сопроводили до одесского пляжа, а в Бендеры отправили одну.

Дикий визг «Рапиры» взорвался над головой, и на несколько минут на площади установилась тишина. Надо было выбираться. Не жить же в подбитом бронетранспортере. Поэтому мы рванули через дорогу и, впрыгнув в разнесенную вдребезги магазинную витрину, стали пробираться между разбитыми прилавками.

До той подворотни, где Мэри оставила машину с шофером, было недалеко. Нужно было пройти всего лишь метров сто пятьдесят, перебежать дорогу, а еще метров через пятнадцать нырнуть во двор. Но это был тот самый квартал в центре, у горисполкома, где и разыгра-

лось сражение. Поэтому мы пробирались внутри магазинов, через какие-то складские помещения, через пробоины в стенах, пока не добрались до торцевой стены. Осталось выбраться на улицу и перебежать дорогу. За дорогой почти безопасно. А там, на машине, закоулками можно выбраться к мосту и попытаться проскочить его на высокой скорости.

Дорогу перебегали по одному, в промежутках между очередями. Вначале она, потеряв по пути объектив фотоаппарата. Потом я, успев его подхватить на бегу. Все. Влетаем в подворотню. А машины и след простыл.

В Тирасполе поначалу решили, что в Кишиневе произошел государственный переворот, в результате которого Косташ, Антох и Плугару захватили власть. Все-таки политиками приднестровцы были очень неопытными, а потому даже не могли представить, что можно вот так, за здорово живешь, выступить вопреки решению собственного парламента. Но услышав заявления Снегура, поняли, что президент на месте и вполне поддерживает происходящее. Значит, никакого переворота нет? Или все-таки есть? Ведь от власти фактически отстранен парламент. Разбираться в тот момент было некогда. Да и незачем. Надо было как-то обороняться. Тем более, что председатель исполкома Христианско-Демократического Народного Фронта Юрие Рошка подписал обращение к президенту и парламенту с требованием закрепить в законодательном порядке факт нахождения Республики Молдова в состоянии войны с... Россией. С Россией, которая выполняла приказ «не вмешиваться».

А тем временем на захваченной территории молдавская армия продолжала не только воевать, но и грабить. В считанные часы были вывезены продукция и оборудование с десятка заводов и фабрик, после чего их взорвали. Потом опустошили и разрушили магазины. Вывезли все медицинское оборудование и препараты из детской поликлиники, женской консультации и гинекологического отделения больницы. Взорвали центральную телефонную подстанцию и Варницкий водозабор. Вывели из строя половину жилого фонда и электрическое освещение.

Но главное – люди. За двое суток погибло около 650 мирных горожан и полторы тысячи было ранено. 100 тысяч – две трети города! – стали беженцами. Здесь остались только немощные и те, кто взял в руки оружие, чтобы защитить свои уже разрушенные дома. На вокзалах Тирасполя и Одессы еще долго жили тысячи людей, которым некуда было податься. А по мосту через Днестр, уже не обращая внимания на свист пуль, все шли и шли беженцы. Полуодетые, голодные, раненные, старики, женщины, дети – это был, действительно, непривлекательный портрет «сепаратистов с берегов Днестра».

Когда появились «родные» МИГи, никому, по-моему, и в голову не пришло, зачем они прилетели. МИГи-то – наши, советские, красноезвездные, эсэсээровские. Ничего не поняли, даже когда один из них сделал первый круг над мостом. Даже когда от него отделились черные точки. Даже...

Страшный взрыв потряс опоры моста, и, через секунду, будто срезанные ножом, около десятка бетонных столбов, державших троллейбусные провода, рухнули на асфальт. Взрывной волной развернуло «КамАЗ». Гвардейцев погребло под баррикадой. Мертвые скрепили собой опоры. Мост устоял.

Вторая бомба упала дальше, за рекой, в Парканах. И на месте пятнадцати домов образовалась гигантская воронка, моментально наполнившаяся водой. И люди стали мертвыми рыбами в мертвом озере.

Уже не обращая внимания на разрывы, Мэри присела на камень и занялась фотоаппаратом. А я упал на траву и, закрыв глаза, стал думать о том, какую картину я бы написал, если бы был художником.

Захотелось выйти на площадь, стать перед бронированными мордами и закричать: зачем вы это делаете? Неужели вы не понимаете, что на этом маленьком клочке земли вы уже никогда не сможете жить так, как жили. Вы уже не сможете жить вместе. Вас будут ненавидеть до тех пор, пока из памяти людей не выветрится эта трагедия. А она долго еще не выветрится. Еще не одно поколение жителей Бендер будет смотреть на вас как на врагов. Даже если наступит мир. Потому что Бендеры за трое суток уже сполна разделили участь Лидице и Хатыни. Ради чего? Ради языка? Ради «единой и неделимой»?

Тут раздалась автоматная очередь. Где-то совсем рядом. Мы инстинктивно вжались в траву. Через некоторое время автомат замолк. Видимо, перезаряжали. Не успел я выглянуть из-за угла, как стрельба послышалась снова. Но я уже успел увидеть странную картину: какой-то волонтер яростно расстреливал из автомата памятник Пушкину.

Операция по деблокированию Бендер завершилась в два часа ночи 21 июня. Под контролем молдавской армии остались лишь два микрорайона и пригород Варница. А наутро уцелевшие жители увидели страшную картину. Развороченные дома с черными проемами вместо окон. Разрушенные и разграбленные магазины. Перешибленные осколками снарядов столбы. Преображенский собор, выщербленный пулями. Улицы и площади, заваленные мертвыми жителями. Меж трупами пританцовывала, по-видимому, сошедшая с ума женщина, напевая песенку «Три танкиста, три веселых друга». Как рассказали уведшие ее соседи, в ночь на двадцать первое волонтеры и ОПОНовцы захватили ночные группы двух детских садов – №16 и №22, в одном из которых был ее маленький сын. А тут еще жителей дома №42 по улице Дружбы выгнали из квартир и заставили танцевать и петь. Вот она так и не смогла остановиться.

Так вот. Я сидел и размышлял, какую картину я бы написал, если бы был художником. Я бы написал большое полотно, состоящее из деталей, так как целого уже не было. Были осколки.

Я бы нарисовал старого бендерского дворника дядю Леву. Каждое утро он берет в руки метлу и метет улицу. Вокруг подбитые минометы и бронетранспортеры, груды металла, свистят пули. А он метет. Он знает свое дело. Он «делает людям чисто». С чудовищным акцентом, перескакивая с русского на идиш, дядя Лева рассказывает, что все его дети уже давно уехали из страны, а он остался со своей больной женой Кларой. Клара уже полгода не встает. Дядя Лева подводит нас к крыльцу и, покопавшись за ним, достает топор.

– Каждый мужчина должен защищать свою жену, – как-то буднично говорит дядя Лева. – Поэтому я держу здесь топор. И пускай они только придут.

Я бы нарисовал кабинет председателя горисполкома Вячеслава Когута. В кабинете нет ни одного окна – какие-то чудовищные дыры, заваленные для безопасности матрацами. На стенах – следы пуль и осколков снарядов. Здесь же, на полу, спят сменные гвардейцы. Но уже подметено, уже вымыто, и Вячеслав ведет прием.

Я бы нарисовал бендерскую школу №8, готовую к выпускному вечеру. Выпускники успели провести только торжественное собрание, на котором директор произнес напутственную речь. Он рассказывал им, как жить дальше. Он не знал, что многим жить дальше не придется. Не успели приступить к выдаче аттестатов, как в школу влетел первый снаряд. И вся картина изменилась. На столах – ошметки тел и белых платьев. На полу – аттестаты зрелости, на каждом из которых поперек нацарапано по-румынски: «недействителен».

Я бы нарисовал роддом, чердак которого захвачен молдавской полицией. На чердаке полицейские устроили огневые точки и оттуда стреляли по городу. Внизу рожали женщины. Внизу новорожденные оглашали мир первым мучительным криком. Мир не слышал. Мир стрелял, прикрываясь младенцами.

Я бы нарисовал маленькие ресторанные подмости. Здесь играл оркестр, когда танки пошли от вокзала, расстреливая все на своем пути. Но оркестра больше нет. Его нельзя нарисовать. Можно нарисовать мертвых музыкантов и вылетевшую из окна одинокую скрипку с оторванным грифом.

Но я не художник. Может быть, с этим справился бы Верещагин, которому стал доступен «Апофеоз войны». Или Пикассо, как никто умевший расчленять женщин и скрипки. Они назад не склеились. Так и живут – частями. Мир, вопреки предсказаниям, идет трещинами. Осколки стран, бездумно расчлененных, холодные и насупленные, как айсберги, время от времени насакаивают друг на друга, гонимые волнами мирового океана. Гармония кончилась. Полифония, не успев зазвучать, выродилась в какофонию. Солирует барабан. Скрипке оторвали гриф, так как обнаружилось, что внутри она пуста. Как кукла с выпотрошенной ватой. Как человек, вывернутый наизнанку осколком снаряда.

Впрочем, если бы Пикассо увидел эту гору бессмысленно убитых жизней, он бы ужаснулся собственному пророчеству. Тираспольские, бендерские и парканские морги не в состоянии оказались их вместить. Поэтому погибших просто складывали во дворе. И живые подолгу искали своих близких, все еще надеясь на чудо, все еще надеясь...

По городу, где на улицах наивно растут абрикосы и вишни, по городу, где даже многоэтажные дома увиты виноградом, по городу, где прямо над головами висят персики и груши и всегда можно собрать небольшой урожай, по этому городу ездит на тракторе с кузовом обросший щетиной человек с тяжелым взглядом. Он никому не стал называть своего имени и его прозвали Никифором. А его трактор – лодкой Харона. Никифор беспрепятственно – взад и вперед – пересекает проходящую по городским улицам линию фронта, потому что его уже знают и те, и другие. В него не стреляют.

Он не замечает вишен и груш, он не собирает в кузов персики и виноград. Он собирает трупы.

Пока мы лежали на траве у горисполкома, где гвардейцы сушили белье на стволе захваченной у моста «Рапиры», Никифор каждые десять-пятнадцать минут подвозил убитых. Старика с банкой, зажатой уже в мертвых руках. Видимо он где-то добыл молоко. Может быть, для внука. Так и привезли с банкой. Только молоко расплескалось. Потом мальчишку лет тринадцати с широко раскрытыми удивленными глазами и аккуратной дырочкой во лбу. Следом – еще одного старика, одноногого. Он лежал в кузове, испачканный землей, уже тронутый разлагающим беспощадным солнцем. А рядом лежали новенькие костыли.

Это уже жертвы снайперов, засевших на крышах и чердаках, а то и прямо в квартирах многоэтажных домов и с какой-то особой тщательностью отстреливающих именно беспомощное мирное население. Гвардейцы охотятся за снайперами по всему городу. Поймали какую-то женщину, на прикладе винтовки которой оказались тридцать три зарубки. Потом раскрыли целую семью, мужа и жену. Оба оказались врачами местной больницы и членами Народного Фронта Молдавии. Стреляли прямо из окна своей квартиры. Из этого окна их и выбросили.

Подобранные Никифором трупы уже можно было свезти на кладбище. А после первых двух дней погрома, когда убитые валялись на улицах вразброс, Вячеслав Когут дал команду хоронить людей прямо на месте гибели. Потому что стояла немыслимая жара, трупы разлагались и возникла угроза эпидемий. И людей хоронили во дворах, в скверах, у подъездов домов.

Так Бендеры стали кладбищем.

Тираспольская городская больница была переполнена. Кровати стояли у стен, в проходах, в коридорах – на них стонали и корчились люди. Мы с трудом пробрались к одному из них. С очевидной болью разлепив глаза, человек дисциплинированно доложил: «Сердюков. Милиционер». Он был совершенно обессилен, поэтому мы сами задрали ему белую больничную

рубаху. На груди были вырезаны звезда и крест, а между ними – большая буква «V». Виктория. Победа.

Соседи по палате рассказали, что милиционер Сердюков поехал за женой и детьми в Варницу, чтобы вывезти их из-под огня. Там он и попал в руки полицейских. Его долго били, затем также долго, с наслаждением вырезали знаки на теле, а после, связав, бросили в кузов машины и повезли в сторону Новых Анен. Пользуясь темнотой, он как-то сумел перевалиться через борт, перегрызть веревку на запястьях и уползти в Гырбовецкий лес. Там его и подобрали гвардейцы.

Рядом – еще один, с перевязанной головой. Повязку снимать не позволил. Да мы и не настаивали. Врач сообщил заранее, что на лбу у него вырезана звезда. Только и спросили:

– Как дела?

– Та нэ як, ты ж бачишь.

– Украинец?

– Приднестровець. И ураинець.

– А почему не уехал на Украину?

– Чому? – Долгое молчание. – Нэнька-Украйна нас предала.

«Мать-Россия – тоже», – хотел я сказать, но промолчал.

Парень лет двадцати с перебитым запястьем кормил здоровой рукой своего соседа, как оказалось, – солдата Национальной Армии Молдавии. Подбирая своих раненых, гвардейцы подобрали и его, и вместе со всеми отправили в Тирасполь.

– К нам хоть родственники приходят, передачи носят. – Пояснил парень. – А этот лежит один. Вот мы его и подкармливаем.

– Так враг же.

– Да какой он уже враг? Призвали, и пошел. В первом же бою ранили.

Молдавский воин оказался крестьянином из-под Флорешт. К вечеру пришел с поля, а дома – повестка. Явился в военкомат. Тут же переодели и увезли. А уже через сутки бросили на Бендеры. Кстати, у многих захваченных в плен молдавских солдат обнаружили повестки – почти всех призвали 17 или 18 июня. И всех, без всякой подготовки, бросили в бой. На мясо.

– Не обижают тебя тут? – Спросил я крестьянина.

В ответ он только помотал головой. И неожиданно заплакал.

– Читай дальше. – Попросила Мэри. И я нехотя достал тетрадь.

«...планету покидают цельные миры. Остаются осколки. Мы – осколки.

Пирамида мира перевернута вверх ногами. Дерево растет от корня, от ствола, расширяясь ближе к кроне. Государство – наоборот. Пирамиды, выстроенные древними египтянами, покоятся на человеческих костях. Человек – ничто, прах, удобрение. К Богу тянется камень. А те, в ком частица Бога, отделены от неба грудой камней. На американской купюре ценностью в один доллар изображена подобная пирамида со странным оком «an der Spitze». То ли это Божье око, то ли око демократии. Запутаешься в этих символах. То одноглазые пирамиды, то двуглавые орлы. И нигде в качестве символа не видать человека. По-прежнему на первом месте интересы наций, государств, идеологии, экономики, политики. И никто не додумался, что мир есть человек. Потому и бродит он по земле неприкаянный, как беженец, – осколок государств, языков и религий...»

Мэри молчала, о чем-то задумавшись.

Из радиоперехвата стал известен приказ министра национальной безопасности Анатола Плугару: «Даже если не удастся захватить город, ничего сепаратистам не оставлять». Ничего и не оставляли. Взрывали разграбленные заводы. Сожгли склад шелкового комбината, хлопкопрядильную фабрику, комбинат «Фанеродеталь», детский сад №5. Расстреляли из минометов

школу №15. Неожиданно с огневых позиций Кицканского плацдарма открыли артиллерийскую пальбу по Парканам – шестеро убитых, десятки раненых. Бендеры кишели снайперами. Людей убивали на огородах, на отдаленных от мест сражений улицах, во дворах. Снайперы не давали тушить пожары и хоронить убитых.

Троих рабочих завода «Молдавкабель», которых везли в больницу, лично застрелил ОПОНовец Василий Шефаль. Несколько десятков жителей села Гиска вывезли в неизвестном направлении. Не вернулись. На подконтрольной территории в районе улиц Комсомольская, Кавриаго и Победы ОПОНовцы выселили людей из квартир на улицу. Исключительно «русскоязычных». Ворвавшись в квартиру пенсионера Абрамова, который ни за что не хотел открывать дверь, застрелили не только его, но и кошку. Кошка тоже оказалась «русскоязычной». В микрорайоне Борисовка задержали троих детей и стали допрашивать, за кого они: за Молдавию или за Приднестровье? Двое старших сообразили, с кем имеют дело, а самый маленький, десятилетний, сказал, что он за гвардейцев, потому что у него отец гвардеец. Расстреляли в упор. В переулке Лермонтова на глазах у матери разорвало двоих детей.

ОПОНовцы поймали пятнадцатилетнего пацана, подвозившего на мотоцикле гвардейца. Гвардейца расстреляли. Мальчишку избили, вырвали губу и распяли на столбе. Многих, кстати, распинали на столбах и деревьях. Только не гвоздями, как в Евангелии, а классически – веревкой и проволокой. И Бендеры порой напоминали захваченный римлянами Иерусалим. И опять приходили на память слова Антонеску: «Меня не волнует, войдем ли мы в историю, как варвары. Римская империя совершила целую серию варварских актов по отношению к современникам, и все же она была самым величественным политическим устройством...»

Потомки римлян возрождали римские традиции.

«...Я видел, как уничтожали целый мир. Это и был апокалипсис. Эти скрипки, эта щемящая душу музыка, этот неповторимый русский язык, из которого то там, то здесь, как вишни из-за забора, вылезают то молдавские, то украинские, то еврейские, то болгарские или немецкие слова – уже не вернуться. Эти девочки в белых передничках... Эти мальчики с глазами, как ночное небо... Не вернуться... Эти вечно мудрые старики в белых пиджаках и белых кепках на набережной... Эти местечки, где, на каком языке ни говори, – все равно поймут... Не вернуться...

Я как-то привез в гости к своей совсем неграмотной маме своего иностранного друга. Я не знал, как она себя поведет. Она никогда в жизни не видела иностранцев. А через минуту он ей уже что-то возбужденно рассказывал на своем языке, а она гладила его по плечу, кормила борщом и все-все понимала. Потому что, если у человека ничего нет в душе, ему нужен язык. А если душа полна любви и сострадания, то язык не нужен. Совсем не нужен.

Но этого мира, этого маленького прогретого солнцем мира, где люди жили красиво, как спелые помидоры на грядках, уже нет. И не будет».

Спасаясь от очередного обстрела, мы опять забрались в Преображенский собор, который уютно устроился за широкой спиной горисполкома. Эти два здания спасали друг друга. Горисполком заслонил собой собор, а церковь прятала выбравшихся из горисполкома людей. Краем глаза я заметил, как бежавший с нами мусульманин Этибар, перекрестился.

Служители пытались замазать следы пуль. У иконы Божьей матери молились двое – пожилая женщина и юный гвардеец. Невдалеке, у алтаря, чем-то был занят отец Леонид. Узнав меня, приблизился и зашептал:

– Ничего, Ефим. Мы молимся. Наше дело – молиться. Молимся спасению души и тех, и других. За тех и других.

А я уже не мог за тех и других. Грешен.

Елена Черникова

Дом на Пресне

Лучше всего был исследован классический древний мир, затем соприкасающаяся с ним ранняя эпоха средних веков, затем уже менее тщательно – позднейший период средневековья и, наконец, менее всего новое время, где богатейшие и многочисленные архивные источники вряд ли разобраны с достаточной систематичностью, да и кроме того часто бывают недоступны из-за соображений, касающихся интересов государства или царствующих домов.

*Проф. Герман Шиллер. **Всемирная история с древнейших времён до начала двадцатого столетия.** Санкт-Петербург. Издательство «Вестник Знания» (В. Битнера), 1906—7 г.*

Мы ясно видим спесивую кандальницу Клио; гуляет со свитком, звеня оковами, тормозит по требованию, вписывает незнамо что. Я знаю её в лицо, ибо живу в районе Москвы, куда капризная дочь Мнемозины регулярно заходит как к себе домой. Достаточно глянуть в окно – идёт.

Сначала моё окно смотрело на Малую Никитскую, тогда *Качалова ул.*, строго в окна ГДРЗ, и потому 19 августа 1991 года я увидела у подъезда танки (дом *радио – режимный объект*). Стены противостоящих домов, моего и радиокомитетского, слева танк и справа танк, – образовали прямоугольник. Я приглядывала за геометрией Клио с моего третьего этажа все три дня. Маневрируя, танки попортили асфальт. Моя дочь строго указала танкистам, что пороть асфальт у нашего подъезда нельзя.

В свои четыре года она знала элементарные вещи.

Всё, что было на Садовом кольце, я тоже видела своими глазами, поскольку наша пресненская Клио всегда щедро суфлирует мне *куда пойти сегодня вечером*. Ни разу не промахнулась. Уважает прессу.

Дом наш был из *доходных* 1905 года постройки. Парадный подъезд, чёрный ход, нежно-молочный кабанчик по фасаду, метлахская плитка на площадках, лестницы широкие, ступеньки низкие – под спокойную человеческую ногу; деревянные перила, витые балясины, лепнина по потолку; дубовый паркет оттенков майского мёда, подоконники мраморные. Я любила дом, бесчисленных соседей, работу в газете, Москву безусловно и беспримесно, и жизнь долго-долго была дивно хороша. Ни большая зарплата, ни отдельная квартира – то есть обычные причины семейного разлада – не светили нам, и переживать за целостность и градус домашней любви не приходилось.

Сейчас мало кто помнит, почему до демографического провала 1992 года был взрыв рождаемости – в 1987—1988 гг. Уникальный. Единственный за весь XX век. Вовсе не из антиалкогольной кампании 1985 г., как шутовали пошляки, о нет. Источник – иррациональный бабий восторг. Перестройка и Горбачёв пообещали социализм с *человеческим* лицом. Ну, не смогла перестройка. Не вышла ни лицом, ни социализмом. Однако рожать побежали все кто могли.

Выросшие в мирное брежневское время, когда история, казалось, навсегда упокоилась в учебниках, – молодые взрывные мамы не чаяли, что им выпадет бороться за жизнь. Научились, ибо несметные плоды взрыва хотели есть, а еда в стране кончалась.

Аккурат под распад СССР я научилась виртуозно менять детсадик на детсадик, азартно убегая от галопирующей цены. С кормом везло: как сотрудник *писательской* газеты, я еженедельно получала комплект из двух квадратных бумажечек: право на *заказ*. Дата, круглая печать и адреса магазинов означали, что я всё-таки накормлю семью. Заказами выжили многие. Заказать в значении *выбрать* было невозможно и даже немыслимо, но ведь и не в едоцком глупом своеволии было дело. Главное – прийти в очередь в отведённое время, купить готовый набор и радоваться шелестящему хрусту тёмно-песочной бумаги, похожей на почтовую.

Наборы *неовощные*, с именем *продуктовые* – из колбасы, сгущёнки, масла и тому подобного – нам продавали, например, во дворе «Диеты», что по соседству с бывшими «Подарками» на улице Горького, ныне Тверской. Если повернуть в Георгиевский переулок, где нынешняя Государственная Дума, то сарайчик с очередью за едой – сразу под аркой налево во двор. Был.

К декабрю 1991 года даже в сакральных сарайчиках стало пустовато, с вызовом. 25 декабря отрёкся М. С. Горбачев. Клио внесла в свиток: СССР (1922—1991). Ночью 31 декабря с обращением к народу вместо президента выступил сатирик Задорнов М. Н. Логично.

А 2 января 1992 года в гастрономе на Баррикадной появилось много съедобного товара, в том числе три сорта колбасы. Но по цене, по которой народ еще не едал. И – кончились деньги. Инфляция, как указал и. о. премьер-министра Е. Т. Гайдар, должна *выжечь* всё негодное и устаревшее своим очистительным огнём, а Б. Н. Ельцин публично дал национальную идею: «Обогащайтесь!». Началось.

Объявили приватизацию жилья. Насельникам коммуналок тоже разрешили, но не поодиночке вразнобой, а только если *все* съёмщики всех комнат квартиры согласно и добровольно пожелают стать частными владельцами *каждый своих* метров, а все вместе – общей квартиры в соответствующих *своим метрам* долях. Поскольку коммунальный быт кое-где у нас порой отучил граждан от единодушия, местами завертелись шекспирово-зоценковские сюжеты.

В наш дом, бесспорно лакомый (улица Качалова!) и сплошь коммунальный, повадились плечистые юные негоцианты: уезжайте без базара, ведь мы же вам купим однокомнатные квартиры в превосходных микрорайонах столицы. Или... пауза. Истинно *качаловская*.

Топонимы земель обетованных ничего не говорили моим соседям, из которых Надя всю жизнь работала на Трёхгорке, Татьяна Алексеевна девочкой научилась плавать на Москва-реке ещё до революции 1905 года; Саша усердно пил и с удалью суицидничал, но и он, как-то проспавшись, подивился топонимам, поскольку в трезвое время суток был таксист; Антонина Фёдоровна была еще незамужем и заинтересовалась, но призадумалась, поскольку в её шестьдесят лет, по её словам, уже *надо понимать*. Главное, никто не желал знать дорогу в куда-макар-телят-не-гонял, и все расстроились.

Негоцианты, не встретив восторга, тоже немного удивились; выкупили первый этаж и открыли *офис*. Они напустили в лексикон нашего подъезда немало новых слов, а мы мотали на ус.

По прошествии месяца к нам зачастили новые пророки, тоже крупные телом. Манеры – оторви да брось. Наконец мы перепугались по-настоящему, поскольку на соседних улицах участились пожары, занимавшиеся обычно с четырёх углов: крыши старинных домов исторического центра оказались картонными.

Люди с пожарами, понятно, поехали по любым топонимам. Мои соседи возопили. Я собрала сход и предложила: мы приватизируем нашу коммуналку, а придут братки – договорим в нос: собственники мы, не поедем в обетованные земли, не имеющие, на наш общий вкус, *никакого географического наименования*. Энергичная Татьяна Алексеевна, пережившая в этом доме всё, включая длительное соседство с Лаврентием Павловичем, особняк которого находился влево наискосок, – гордо фыркнула.

Это *наивность*. Или *шапкозакидательство*. Больше, чем неминуемого поджога, соседи перепугались дружной приватизации – кто до зелёных чёртиков, кто до белой горячки. Но я, упорно склоняя всех к солидарности, пообещала твёрдо, что однажды к нам придут люди вежливые, безоружные, они скажут волшебное слово «пожалуйста». Я проповедовала терпение в психоисторических условиях, неуклонно приближавшихся к боевым. Риторическая сила моя, незаметная ранее, вдруг пробудилась пред лицом очевидной будущности: запах гари с соседних улиц либо слух об очередной гари прилетали бесперебойно.

Уговорила. Приватизировались. Холодея от ужаса. Некоторые от стыда, что *присваивают*. О, сколько нам открытий...

И пришла-таки Зина. Интеллигентная женщина с простеньким бумажным блокнотом вместо пистолета. И действительно спросила: чего *вы все* изволите?

Мы все изволили. Мы, два подъезда, четырнадцать густо-не-то-слово-населённых квартир, мы так изволили, как уже вряд ли когда-нибудь, хотя кто его знает. Весь дом изволил. Никто не сробел. Я опять возглавила и своими руками начертала нашу судьбу в виде сводной таблицы: обязательные условия, желательные, безразличные. Каждый вписал в реестр, что смог вообразить, включая метраж и количество комнат в роскошных изолированных квартирах у свежесфантазированных станций метро. Многие потребовали *плюс* красивый ремонт, бережный переезд и даже земельные участки впридачу. И чтоб никаких топонимов!

Складывая мечты в реестр, мы – батальон уникально взвинченных людей всех возрастов, – чувствовали себя шаманами, заклиняющими тучу. Наискосок от нашего дома всё дремал, будто покуривая в своём историческом углу, особнячок северо-африканского посольства. Бывший Дом Берии. Было в нашем футуристическом творчестве нечто потустороннее, острое, резкое, сумасшедшее, было, было.

Как ни удивительно, авторы фантастического списка все выжили и получили именно то, что сумели вообразить, – все. Мы подарили очаровательной Зине наши антикварные комнаты, а Зина в ответ подарила нам отдельные квартиры в соответствии с индивидуальным метражом, общим куражом и личным ражем. До сих пор перезваниваемся и кокетничаем: были же времена! и чего разъехались! хорошо жили!

Лишь мне не надо было напрягать фантазию. У меня случился звёздный час в журналистской карьере. Аккредитованная пресс-центром Верховного Совета как парламентский корреспондент, я ходила в Белый Дом, а когда съезды – в Кремль, дабы доложить читателям своей газеты, как идут реформы. Мой путь и тактику определили именно эти магические слова, ранее для меня, беспартийной, нереальные: парламентский корреспондент. Клио подарила мне контрамарку в закрытый театр, где первые непрофессиональные политики, они же последние, сочиняли новую Россию. И Кремль, считай, всегда под рукой. До редакции вообще сорок секунд ходу. Мой любимый старый дом – точка сборки мира. Кайф уникальный. Я не могла расстаться с удачей.

И вписала я в свою графу двухкомнатную квартиру обязательно на Пресне, телефон, балкон и тихий дворик под окном. Мне хотелось по-прежнему ходить на ту же работу тем же пешком, не теряя ни секунды драгоценного созерцания. Азартна я вельми. Как увижу голубой мизер, вся белею, и мурашки по затылку. Больше не играю, кстати.

В декабре 1992 года двухкомнатная квартира на Пресне стала законно моей. Оставалось собраться и переехать.

В том же декабре 1992 года решилась и судьба Гайдара. Из и. о. премьера в настоящие премьеры он не попал. Я присутствовала, как положено, на заседаниях Съезда народных депутатов.

Пожалуйста, сосредоточьтесь.

Большой Кремлёвский дворец. Перед голосованием, со словом о Гайдаре, уговаривая Съезд продлить его политическую власть, мощно выступали весомые да знаковые, но знаменитый историк-генерал, известный бровями и разоблачениями, рванул на редкость. Сокращённо цитирую генерала: «Дорогие друзья! Я сейчас хочу только одного: чтобы Всевышний нас всех одарил мудростью и спокойствием... Я думаю, что лет через десять-пятнадцать люди, отделившись от сиюминутной суетности и успокоившись, скажут о нашем времени как о переломном, историческом. Скажут доброе слово о тех, кто не дрогнул, кто был архитектором этого нового курса. Я прошу не смеяться – в истории смеется тот, кто смеется последним... Мы все должны понять, что у нас есть один общий враг – кризис. Понимаете?... Поодиночке никто не выберется... И сегодня, по существу, кандидатура Гайдара является символом компромисса – исторического, если хотите, компромисса: необходимости сохранения реформ и коррекции этих реформ. В этих условиях фигура Гайдара является консолидирующей... Сегодня имя Гайдара – это символ: или мы пойдем вперед, к новой России, или мы повернем вспять. По существу, выбор очень судьбоносный...». Стенограмма у меня сохранилась.

Объявили перерыв, и кто не депутаты, пошли гулять и гадать о будущем. В зале тепло, но меня знобит. Холёные лестницы Дворца наэлектризованы; обезумевшие работники прессы ежедневной сбивают с ног работников прессы еженедельной. Ковровые дорожки краснеют. Гуляю. Хочется куда-нибудь пойти. Георгиевский зал. Гуляю. Вкусно пахнет из буфета. Гуляю. Сверкают ларьки с эксклюзивными ёлочными игрушками. Надо бы, думаю, заморских лампочек купить, но гуляю в гардероб, одеваюсь, выхожу во двор и вижу Архангельский собор. Мой любимый собор. Не гуляю. Небо серое, ветер гоняет по брусчатке белую, чистую кремлевскую поземку. Куда я? Что-то подталкивает в спину, но куда? Никогда ничего не надеваю на голову. В любую погоду. Почему я принесла сегодня пуховый, белый платок? Шаг, второй, Архангельский собор все ближе, ближе; я снимаю платок с шеи и надеваю на голову. Расправляю, поднимаюсь на крылечко собора. Кланяюсь. Дверь легко поддается. Вхожу. Внутри – никого. Вдруг слышу:

– Здравствуйте. Вы к нам?

«Не может быть», – думаю я.

– Вы со съезда? – и ко мне, вежливо наклонив голову, идёт седой мужчина в мешковатом коричневом костюме.

– Да, – говорю, – добрый день. Можно?

– Вам – можно, – отвечает он. – Проходите, я вам все покажу.

И ведет меня вдоль усыпальниц. Тихим голосом поясняет, где кто покоится. По-домашнему так, по-свойски. Князь... Царь... Князь... Будто по семейному склепу – личного гостя выгуливает. У нас тут и Грозный есть. Иван Васильевич, с сыновьями. В алтаре.

Я притормаживаю метров за пять до запретной дверцы. Я хоть и в платке, но по-нашему в алтарь женщинам нельзя. Я где угодно могу пропустить любое «нельзя» мимо ушей, но спорить с алтарём и запретом, особенно ввиду Грозного, не готова.

Мой внезапный гид необъяснимо радушен. Останавливается возле дверцы. У входа в усыпальницу Грозного, с сыновьями.

Достает из кармана ключ и вставляет в замочную скважину. Поворачивает ключ. Скрип. Оборачивается ко мне, зовет рукой. Я ни с места. Я действительно боюсь. Вдруг стены рухнут. Земля разверзнется. Туда же нельзя вообще никому. Не только женщинам.

– Мы сюда однажды самого Горбачёва с супругой и с иностранцами не пустили, – шепотом говорит мой гид. – Нельзя сюда никому. Идите сюда...

Околдовал он меня что ли. Делаю шаг. Другой. Третий. Обнаруживаю себя в дверном проеме. Вергилий мой включает свет, пропускает меня в усыпальницу, а сам выпрыгивает за порог и шепчет:

– Идите туда быстрее. Вам сегодня можно...

Справа три саркофага в тёмно-бордовых бархатных обивках, с серебряными крестами. Грозный и сыновья. В глубине комнаты – узкий постамент, бронзовый бюст.

– Это сам Иван Васильевич, – шепчет испуганно мой гид из-за порога, – его лицо Герасимов восстановил. Посмотрите в глаза...

Я осмелела и близко подошла.

Руку протянешь – бороды коснешься. И посмотрела ему в глаза. А Грозный посмотрел в мои глаза. Насквозь. Живыми глазами.

Вергилий замер, притих. Я вспомнила о нем, повернула голову: стоит, смотрит на меня через порог и молчит. Чувствую, обмер. Сделал невесть что, сам не понял почему, а теперь страшно. Я кивнула, что иду. Посмотрела еще раз на Ивана Васильевича и медленно потопала к выходу, боясь споткнуться на ступеньках. Там идти-то три шага, но будто века. Вергилий выключил свет, закрыл дверцу:

– Ну, спасибо, что зашли. Вы напротив пойдите. Там вас пустят сегодня. На яшмовом полу постоите, всё пройдет...

Оказавшись на морозе, я подумала секунду и пошла в храм напротив. Сюжет повторился. Бабуля, недипломированная дежурная, поднялась навстречу и повела за собой.

– А вот тут, видите, специальное место отвели, чтоб Грозный молился. Грешен был... Жёны отдельно... Вы смотрите, смотрите, у нас сейчас всё закрыто, не работаем, никого нет, а вы смотрите...

Я смотрю. Пестрый пол, отшлифованный, уютный.

– Это яшма, – говорит бабуля. – Она лечит и успокаивает. Наши девочки как придут с утра на работу, ну, кто с мужем поругался, знаете, ведь все на пенсии уже, нервы там разные, здоровье, словом, снимают туфли и бегают босиком в чулках перед иконостасом по яшмовому полу. И все проходит. Как рукой. Попробуйте там постоять.

И ушла куда-то, оставив меня на яшмовом полу пред царскими иконами.

Постояла я на яшмовом полу. И пошла в Большой Кремлевский Дворец.

Бровастый генерал в холле скользнул по мне хмурым тревожным взглядом. Почему-то по мне. Я снимала свой ажурный платок, вспоминала храмы, принявшие меня не по чину, и подумала: а где провел этот, судьбоносный, перерыв между заседаниями, когда Россия должна была, по его жаркому призыву, сделать исторический выбор с помощью депутатских бюллетеней, где он-то провел перерыв, генерал-то? Собственно голосовать недолго, минут пять, бросил бюллетень и пошёл; а еще два часа – где был? В храме – чтобы Всевышний нас всех одарил мудростью – точно не был. Я же видела.

Перерыв к концу идет, голосование состоялось. Начинают.

Вопросы по ходу, поправки к документам, микрофоны, гул, ожидание. Ожидание. Два журналиста на пресс-балконе открыли тотализатор: ставки сделаны. Большинство уверено, что кандидатуру утвердят. Двое-трое поставили на неутверждение. На них посматривают с соболезнованием. Я вслушиваюсь в свой внутренний голос, не на шутку разговорившийся сегодня, и слышу правильный ответ. Через пять минут этот ответ слышит весь мир. На трибуну выходит представитель счетной комиссии:

– ...в бюллетени для голосования была внесена кандидатура Гайдара Егора Тимуровича.. председателя совета министров... правительства... депутатам роздано девятьсот семьдесят шесть бюллетеней... при вскрытии обнаружено девятьсот семьдесят пять... признаны действительными девятьсот пятьдесят три... недействительных двадцать два... голоса распределились... за – четыреста шестьдесят семь... против – четыреста восемьдесят шесть... таким образом, кандидатура... не набрала требуемого для утверждения числа голосов... председатель счетной комиссии... секретарь...

Вот и все. Вот и нету великана, подумала я. В зале как вымерли. Потом чуть ожили. С балкона Большого Кремлёвского Дворца было хорошо видно и отлично слышно всё, включая

лицо свергнутого и. о. Пресса онемела, потом разразилась: съезд тянет страну назад! Я была одинока в тихой радости своей, что автор стратегии выжигания людей не утверждён на роль председателя правительства моей родины.

Я шла домой чуть пританцовывая. По улице Герцена, которая еще не знала, что опять будет Большой Никитской, почти бежала я, складывала слова, чтобы рассказать дома, что я пережила сегодня. А потом написать в своей любимой газете, позволявшей мне всё, – правду.

Тот, кто ждал меня дома, очень любил мои рассказы про политиков, Белый Дом и Кремль. Ему нравилось играть в угадайку: я раскладывала перед ним числа – «за» и «против» – на завтрашние голосования. Вот такие будут пункты повестки на съезде – а вот такие будут результаты. Не до последнего знака, разумеется, а в принципе. Я угадывала всегда: чувствовала точно, как бывает на вдохновении.

...Клио – графоманка с причудами: публикуется за свой счёт, но за строчку платит бесмертием.

– Это всего лишь седьмой съезд, – говорил друг, – а что ты будешь делать ближе к десятому? Посылать факсы с полной картиной всех голосований на весь съезд вперед с дублирующей отсылкой в мировые средства массовой информации?

Ему казалось, что шутки всё это, шутки.

– Нет, – говорю, – к десятому съезду им надо будет сухарей подсушить...

– Да не может быть такого, глупая ты женщина!

– А увидишь, – безропотно отвечала я, потому что неприятно спорить, когда знаешь наперед точно.

Мы спорили до утра.

А под утро мне приснился Грозный. Его лицо работы Михаила Герасимова сбросило бронзу, вылетело из алтаря Архангельского собора, сделало семь кругов над Москвой, ринулось вниз, на Пресню, к Малой Никитской 29, и, отшвырнув задремавшую на моём подоконнике Клио, заглянуло в моё окно. Царь повелел обратить внимание на то, что будет – и число мне назвал.

...Декабрь 1992 года, с Кремлём, Гайдаром, митингами по жилью, – закончился. Под Новый год соседи мои поехали по вожеленным квартирам, бегают все, счастье, свадьбы, крестины, сверхъестественные диспуты о кафеле, шторах под цвет чего-то.

Я тоже могла бы прыгать и петь. И ходить на охоту в Белый Дом привычным пешком, разве что другой стороной, по Предтеченскому переулку, мимо храма и парка. Оставалось лишь переехать всего-навсего через Садовое кольцо. Две остановки на троллейбусе. Меня уже торопили. Кругом валялся богатый реквизит для русского неореализма в трактовке Венгрова, но сто лет спустя. В раскуроченные квартиры бесстыдно вели навек распахнутые двери. По пружинным диванам скалились онемевшие старые фарфоровые куклы, эти отставные воспитательницы хороших девочек, а двуногие брошенные табуретки на сквозняке попискивали мама. Бедные игрушки века, уходившего на потеху Клио в геенну прошлого: под обоями открылись газеты 1937 года плюс-минус. С антресолей повыглядывали забытые иконы. Сбежавший в лучезарное будущее дом оставил свою расконвоированную изнанку, драное исподнее, несбывшиеся мечты, хлам иллюзий, надежд и прочие колодки.

Одна я упорно жила в своей комнате. Иногда брала отвёртку и отвинчивала латунные ручки с дверей. Иногда поглядывала на дубовый паркет: не разобрать ли? Вытирала слёзы. Смотрела в окно. Положила на мраморный подоконник яблоко и следила неделями, как оно вялится, но не портится, ибо мрамор – природный антисептик.

Вовсю галопировал детективный 1993 год. Январь. Февраль. Март. Я – ни с места. Хожу себе и хожу в Белый Дом из моего старого дома, беседую с бесподобными персонажами: оппо-

зия. По всей прессе её кляли на чём свет, поскольку оппозиция была против инфляции. Либерализацию всего и сразу не все пережили, многие умерли, особенно когда все потеряли. Но прессу заклинило, она хвалила новую идеологию, её архитекторов, лобызала младореформаторов. Я же, ввиду характера задиристого и самоуправного, писала портрет: кто говорил мне, что он оппозиционер, я его тут же описывала. Как правило, в интервью. Диктофон был плохонький, часто приходилось запоминать наизусть километрами; но у меня природная память. И зачем-то я, как пылесос, собирала все бумажки: листовки, стенограммы, проекты конституции, манифесты, партийные программы, отчёты, пресс-дайджесты. Партитура кантаты для сводного хора с оркестром имени Клио. Мне кажется, я любила этих, скажем так, первых романтиков второго неореализма: с улицы, вчерашние аспирантики, но вдруг с депутатскими значками, – они в 1989 году свои выборные материалы на ватмане рисовали, сами по заборам клеили, а речи импровизировали – от души. К 1993 году, конечно, заматерели, но с нынешними не сравнить. То были чисто дети. Нынешние никогда уже не будут как дети. А те остались у меня в шкафу. Я успела унести архив до установки оцепления. Колючка была со склада, не надёванная, помню, блестела на солнышке. Почти до самого расстрела.

Помогая мне страдать и медлить, в моём качаловском доме работало электро- и водоснабжение. Дом пустой, я одна, но всё работает. Представьте. Намедни провернувшая блистательный аттракцион с расселением большого коммунального дома в историческом центре Москвы, я, лидер всеобщего счастья, наступившего реально и в сжатые сроки, – вечерами смотрела в свои древние стёкла, неровные, тонко плывущие, будто заливное. За стёклами плыли два лица, как две греческие маски, а я глядела в их совершенно одинаковые глаза и думала о стерляжьей ухе с шампанским по-царски; – Боже мой, почему! а какое дружное домоводство и понимание бросаем мы тут, а ночные ливни; а воскрешённый Храм Большое Вознесение! и недавнее моё крещение в православие, нитями да струнами связанное с благозвучным и благодатным миром именно здесь; меня же крестили вместе с дочерью – дома. В этой комнате. Я ладонью гладила стены моей, то есть уже не моей, обожаемой красавицы, полной векового воздуха, двадцатисемиметровой, о двух высоких окнах, с потолками выше четырёх метров, – прислушиваясь к фантасмагорической тишине и внезапной моей, уже моей, лютой тоске. Жаль моих заливных стёкол.

В итоге переезжала я с Малой Никитской на Пресню, считай, девять месяцев: с декабря 1992 года по август 1993 года. Перевозила по одной книжечке, по две чашечки. Если бы мой рояль можно было перевезти по одной клавише, видимо, так и ехал бы он мелкими порциями.

В своей газете я написала вдруг, что чувствую себя пассажиром метро, а в вагон со всех дверей внезапно вошли контролёры и проверяют билеты, и ругаются на нас, поскольку ни у кого билетов нет, поскольку билеты не предусмотрены и не продаются. Но контролёры упорно требуют билетов.

Дочери оставался год до школы. Устроила её сказочно: в замечательную и бесплатно, рядом с новой квартирой; осталось ещё год поводить её в детский сад, а мне ещё немного поклеить обои, а я всё ехала и ехала на троллейбусе через две остановки, перемещая то кастрюльку, то бирюльку. К сентябрю на подъезде старого дома новые хозяева, умаявшись со мной, решительно поставили решётки, мою мебель упаковали, доставили, всё. Всё. Накануне бунтовщицко-мужицкого Указа №1400, это который о поэтапной *конституционно реформе* в России, я доклеила обои. Вытерев слёзы, расставив мебель и смирившись, вышла я 20 сентября 1993 года на балкон своей новой квартиры – и увидела на горизонте кремлёвскую звезду. Мне понравилось, что хотя бы одну звезду видно.

Один мой знакомый интеллигент, из потомственных, понятно, дворян, до сих пор уверен, что 4 октября по Белому Дому стреляли холостыми. Пропасть между мной и интеллигенцией непреодолима: я никогда не смогу рассказать интеллигенту, что мне посоветовал Гроз-

ный. Помните, как я попала в алтарь Архангельского собора Кремля? Прости Господи меня грешную.

Грозный сказал, что вечером 4 октября 1993 года мне надо будет прятать ребёнка, потому что полетят красные пчёлы, смертельно красивые.

Когда к вечеру затрещало в нашем дворе, выгнулись красные дуги-трассы на фоне тёмно-синего неба, ребёнок побежал к балкону, потому что красиво. Я успела перехватить ребёнка и спрятала в глубине нашей новой квартиры.

В декабре 1993 года новый состав парламента, который уже Дума, а не расстрелянный наивный Верховый Совет, принял новую Конституцию России. Помню, ходила *типа* шутка: а что вы делали в ночь с 21 сентября на 4 октября? От ответа зависел карьерный рост. Теперь, по прошествии двадцати лет, это называется социальный лифт. Что бы сказал Иван Васильевич...

Сергей Шаргунов

Прямо к солнцу

Ближе к «Октябрьской» в вагоне стало тесно, в город он поплыл на заполненном эскалаторе. Разговоры, лица, повадки убеждали его, что эти люди с ним заодно, некоторые держали свернутые флаги и плакаты. Выходя, Виктор посмотрел на часы над кассами: без пяти два. Когда он покинул метро, площадь возле памятника Ленину бурлила. Обогнув толпу, он уперся в щиты, за которыми виднелись грузовики, казалось, до самого Каменного моста. Шумели разрозненные голоса и, отталкиваясь от щитов, обрели стальное эхо:

– За Кремль бояться!

– Кончилась малина! Людей море, ты смотри!

– Пацан, отдай дубинку, если русский!

– Две недели измываются!

– Правильно... Две недели в Кремле запой!

– Народ с утра попер. Я здесь с десяти. Сначала ОМОН мешал. Толкали нас, пихали... Встали, отгородились... Всех не разгоните, иуды!

– На площадь Ильича пойдем. К заводу «Серп и молот».

Вдоль щитов, извиваясь, двигался мужчина с деревянной дудкой, выдававшей насмешливые резкие рассыпчатые трели, в красной мантии поверх куртки и красном колпаке с вышитыми на нем золотыми солнцем и луной.

В начале Крымского моста тоже сверкали щиты заслона. Виктор немного прошел туда и увидел человека в черном, в черной скуфье (слово из кроссворда), с длинным, поднятым над головой деревянным распятием, расхаживавшего среди зеркального блеска щитов, и понял, что это священник. Тут кто-то сунул в руку листовку.

«Дорогая Наденька! – чернело с бумаги, отбитое на печатной машинке. – Трудно выразить словами мое потрясение от известия о кончине Вашего мужа Валентина Константиновича Климова, слесаря-ремонтника Дома Советов. Невозможно поверить в его гибель среди белого дня по пути на работу, когда вроде бы нет войны, нет фронта. Глубоко скорблю в Вашем горе. Обещаю, что закон, суд праведный обрушится на головы тех, кто избивал и убил Вашего мужа. Исполняющий обязанности Президента России Руцкой».

Ниже клубилась размашистая черная подпись, похожая на изображение грозовой тучи.

На Ленинском проспекте скапливались люди, доносились зовы мегафона. Он начал протискиваться, пытаясь разобрать, кто выступает. Вокруг было всё больше снарядившихся к бою: у одного – медный водопроводный вентиль, надетый на пальцы, у другого – кусок трубы с таким знакомым отверстием свища. Наконец он добрался до сердцевины колонны, где парни в кожанках, сцепившись локтями, окружили двоих. Виктор узнал депутатов. Уражцев держал в руке пластмассовую коробку мегафона, Константинов – железный раструб, усиливавший крик. Тот, что кричал, был весел и розов, как будто только из парилки, с желто-седой шевелюрой. Тот, что держал раструб, был насуплен, с бородой и залысиной.

– Диктатура не пройдет! – увлеченно заходил Уражцев. – Друзья, надо немножко потерпеть! Давайте отправимся на площадь Гагарина, подальше от провокаций... И на Воробьевы горы...

Константинов с мрачной важностью несколько раз кивнул.

– Труссы! – заклокотала женщина с воздушными каштановыми волосами. – Уводят народ! Дерьмократы оба! – На нее зашикали, и она стала разяснять: – А что, не так? Они от кого избирались? От «Демроссии»!

– Все к универу! Вперед, к знаниям! – счастливо выкрикнул Уражцев.

Толпа потекла по проспекту.

Виктор брел, предвкушая встречу с милыми местами, где давно не был, мерцание шпиля на замке МГУ, смотровую площадку с белой церковкой на краю, раскинувшуюся внизу голубоватую маревую Москву, портвейный запах гниющих листьев из зарослей и рощ. Вытянув шею на чей-то ор, он увидел человека в кожаном шлеме летчика, который тормозил колонну открытыми ладонями:

– Але! Гараж! Поворачивай оглобли! Наших бьют!

Началось замешательство: толкались, пытаясь идти дальше, но вожаки встали. Потом вожаки развернулись, и все стали разворачиваться, Виктор тоже развернулся, не понимая, что происходит, как не понимал, кажется, никто. Они уже двигались назад к «Октябрьской», мегафон оказался у его затылка, и прямо в мозг ему с помехами и неумело запел радостный Уражцев:

Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»!

Пощады никто не желает!

Колонна, обрастая растерянными подпевалами, путаясь в куплетах и всё время возвращаясь к первому «Наверх вы, товарищи!», взяла круто влево. Пошли почти бегом, и Виктор увидел сверху, как при заходе на мост небольшую толпу теснит отряд со щитами, а позади в несколько рядов серебрятся щиты, от солнца ослепительные до рези.

В тот же миг, охваченный каким-то детским инстинктом, он не столько подумал, сколько почувствовал: эти щиты – фольга, они бесполезны, они ничтожны, их можно порвать и съесть конфету. И тогда, глядя не вперед, а вверх, в сладкую синеву, подставляя горло солнечным лучам, он громко, протяжно, восклицательно запел, так, чтобы другие слышали и могли подпеть:

Свистит, и гремит, и грохочет кругом!

Гром пушек, шипенье снарядов!

И стал наш бесстрашный и гордый «Варяг»

Подобен крошечному аду!

Андреевский флаг ласковой бело-голубой волной задел его разгоряченное лицо.

При появлении колонны отряд со щитами отступил и выстроился еще одним заслоном.

– Пропустите народ к парламенту! – выкрикнул Константинов как-то сварливо; ему ответили одновременным гостеприимным ударом дубинок по щитам, и только теперь Виктор понял, зачем приведен сюда.

– Пропустят, жди, – сказал кто-то.

И сразу зашумели множество голосов:

– Кто там, ясно?

– В зеленом. Внутренние войска.

– Отсюда точно не дойдем.

– Давайте поднажмем!

– Даже если прорвемся, дальше остановят.

– А где наш дух русский? Знаете, когда Суворов через Альпы...

– Тетя, ты чего, исторический роман сочиняешь?

У них в оконцовке колючка да бэтээры.

– Ничего, оружие в бою отымем!

– Завели в западню! Только лоб расшибать! – махнул двумя корявыми руками мужик с пучками морщин вдоль рта. – Я не мазохист! – и принялся выбираться из толпы.

– Сколько дотуда? Подскажите, пожалуйста, – заскрипела старушка в пенсне.

– Пехом можно час! – доложила разбойная бабка, крашенный хной вихор торчал из-под косынки.

– Я и так не дойду, а куда мне с боями? – Старушка озиралась, прикидывая, как бы уцелеть.

– Москвичи и гости столицы хотят видеть своих избранников! Ура! – закричал Уражцев с бодростью свадебного тамады.

– А получат по зубам, – констатировал мужчина, у которого татуировка дракона вылезала пастью и синим пламенем на шею из-за пазухи.

– Надо на чудо надеяться! – сам себе вслух сказал Виктор. – Если на чудо надеешься, то...

– Сейчас сзади ОМОН прихлопнет! – перебил его одраконовый, показывая назад.

Виктор оглянулся и тотчас рассмеялся: «Не прихлопнут!» – сзади, в разноцветных пятнах транспарантов и флагов, колыхалась огромная людская масса, затопившая всё пространство от памятника Ленину до спуска к мосту.

Он почувствовал, что не совсем себе принадлежит, он стал частичкой стихии, которая его не отпустит.

Многолюдье, вероятно, впечатлило и солдат – они, присев, с головой прикрылись щитами, второй ряд поставил щиты сверху, а еще выше, дотянувшись, воздвиг щиты третий ряд – получилась непроницаемая стена, и Виктор вспомнил псов-рыцарей с железными панцирями из фильма «Александр Невский». Но и эти казались киношными, обреченными шататься, валиться, может быть, тяжело лететь в реку, краешек которой голубел впереди, и в подтверждение этого ощущения глазастая женщина звонко попросила, заламывая длинные руки: «Господи, избави нас от плена!» – и он узнал актрису Варлей из фильма «Кавказская пленница».

Виктор встал на цыпочки, желая выяснить, каково там, на мосту, но лишь чуть шире увидел реку. Мегафон опять захрипел: «Ур-ра!», вокруг подхватили: «В атаку!» – и люди, напирая друг на друга, превратившись в одну тугую волну, вытолкнули его в лязг и мат. Он успел увидеть, как веселый верзила доской таранит щит и пробивает брешь, как отпрыгивает старик-колобок в коричневой шляпе, из-под которой хлынула кровь. Потом началась свалка, и, провернутый в оглушительной мясорубке, он оказался на мосту, босым, лежащим на парне в амуниции с заброшенным юным лицом, а сверху, давя, шевелился еще кто-то.

Ему помогли подняться, он наудачу легко отыскал кеды среди чужой обуви, солдата оттащили к парапету, где стояли и сидели остальные в зеленом, безоружные и бледные, некоторые безмолвно плачущие. С другой стороны моста сидели раненые демонстранты. А шествие уже продолжалось, заливая мост...

Один солдат, сидя на асфальте, клонил алую липкую голову, и актриса заботливо промакивала ее носовым платком:

– Потерпи, мальчик! Всё хорошо...

– Хорошо мы их угостили! – говорил ей под руку возбужденный мужчина, непрерывно сплевывая и растирая плевки.

– Лежачих не бьют! Не трохать! – раздалось наставительно-густое от другой теснившейся кучки.

Впереди, как по команде, с блеском падали в реку щиты.

– Сейчас за ними полетишь! – сказала женщина в разорванной куртке: крупный мужлан в надвинутой каске смотрел на нее бессмысленно и скорбно, не мигая, как бычок на хозяйку.

– Берите у них всё! Запасаемся! – донесся хрип мегафона. – Неизвестно что дальше!

– А что дальше? – спросил человек с кровоподтеком под глазом, замахиваясь дубинкой на высокого солдата, и тот сразу испуганно согнулся. – Дальше, гнида тупая, готовь рожу!

– Они ни в чем не виноваты! – закурлыкали женские голоса. – Им приказали!

– А если стрелять будут, тоже пожалеете? – кинул, проходя, немолодой наливной азиат, похожий на Мао Цзедуна.

С этой минуты жизнь перешла на другую скорость. Виктор побежал догонять колонну. Голова кружилась от совершившегося чуда. Людская река текла по мосту по вертикали, а по горизонтали посверкивала Москва-река и покачивалось распятие на плече у священника, шагавшего по-походному споро.

Он сбежал с моста на Садовое, затянутое дымом и гремевшее выстрелами, увидел сверху стальные щиты на Зубовской площади и за ними – сдвинутые грузовики.

Навстречу ему промчал мальчишка на велосипеде, резво крутивший педали и истошно вопивший: «Быстрее! Догоняй! Не отставай!»

Возле старинных провиантских складов толпа окружила автобусы, очевидно, принадлежавшие ОМОНу или внутренним войскам: трофейные дубинки обрушились на стекла, которые осыпались мелкой крошкой.

– Газом быют! Шашки дымовые! – кашляя, сипло кричал человек, прикрывая нос мохнатым шарфом.

У магазина с вывеской «Прогресс» чинилась дорога – рабочие в оранжевых касках замерли над свежеблестящим асфальтом. Прочь от них, опрокидывая заграждения, выехал грузовик с красным флагом, развевающимся из окна, и, поняв, что он захвачен, прочитав белые на красном буквы РКРП, Виктор на бегу захлопал в ладоши.

Впереди началась новая драка. Донесся многоголосый, запеваемый на все лады «Варяг», залязгали удары.

Виктор вдруг подумал, что знает, что надо кричать. Одно слово. Он знал это слово, но забыл. Безотчетно и бесстрашно засмеялся, глубоко вдыхая приторный запах газа. Отпрянул к тротуару. Внезапно его сильно замутило и вырвало – спиртом «Рояль» и жареной картошкой.

...Виктор вытерся рукавом и заорал освежающее: «ура». Он вновь мчался вперед и видел множество солдат и омоновцев, которые бежали врассыпную, теряя дубинки и щиты. Там и тут вокруг не успевавших убежать закручивались людские гневные водовороты. Люди, облепив грузовики, вышибали стекла, влезали внутрь. По Садовому уносился военный грузовик с человеком, повисшим на подножке. Человек соскользнул и попал под другой грузовик, гнавший следом.

Третий грузовик под красным флагом затормозил возле раздавленного, кто-то выпрыгнул, нагнулся, похоже, щупая пульс, затем принял флаг из кабины, накрыл тело. Подскочившие перенесли его на тротуар.

Всё промелькнуло за какие-то секунды.

Два взмокших парня в кожанках двигались большими скачками, держа с двух концов деревянную скамью, выломанную, видимо, из военного грузовика.

– Разбудили медведя! – выдохнул сосед Виктора по пробежке, спортивный старик с возрастной гречкой на лысине, распечатывая губы, запекшиеся красной коркой.

Он обнимал бревно, словно добытое из леса. Они остановились. Перед ними была Смоленская площадь, перекрытая со всех сторон, заполненная бесчисленными касками; позади зеленели грузовики и краснели пожарные машины. Отступавшие вливались в этот заслон, умножая его. Желто-коричневая высотка МИДа была сейчас особенно зловещей, как неприступный средневековый замок.

«Богатырь», – прочитал Виктор вывеску на магазине, и это слово болезненно отозвалось в нем.

Двое автоматчиков в касках выдвинулись из-за щитов и разрядили обоймы вверх. Прямо на них в распахнутом бирюзовом пуховике шел мужичок, сжимая толстую пачку газет. Напе-

перез ему выскочил мент в серой шапке, резко взмахнув ногой в тяжелом ботинке. Мужичок уклонился и затряс газетами на вытянутой руке, словно предлагая их купить.

Виктор оглянулся, и у него перехватило дыхание: всё Садовое заполняли люди, им не было конца. Многие, сгорбившись, долбили дубинками или сидели на корточках; он понял: они привычно отколупывали асфальт.

Со стороны щитов поплыл приторно-едкий запах, вокруг закашлялись, натягивали на лица горлышки свитеров, прикрывались шапками и носовыми платками. Виктор смахнул длинную слезу; его уже не тошнило, но в горле першило, как будто там песок.

– В бой! – захрипел в мегафон неизвестный ему мужчина с вытянутым южным лицом.

– За Русь-матушку! – и старик с гречневой головой, размахнувшись, швырнул бревном, как снарядом.

Виктор неожиданно вспомнил слово, которое закатилось в темную щель памяти. Выхватив из кармана куртки поджигу и коробок, чиркнул спичкой и закричал по складам:

– Ре-во-лю-ция!

Залп самопала затерялся в криках, но словно в ответ на стальные брызги из пожарных брандспойтов обрушился ослепительно-белесый ледяной поток, парализующий, как сход снежной лавины.

Грузовик с новым красным флагом, на этот раз выставленным на крыше, подкатил к щитам. Люди ринулись за ним, грузовик почему-то остановился – может быть, водитель пожалел давить, – флаг сбило струей, а в следующий миг, не тратя времени на раздумья, уже зная, что вот она, это она, ре-во-лю-ция, проплыв под kloкочущей водой, мокрый насквозь, Виктор вынырнул между щитами и вломился в гущу ОМОНа, деревянной ручкой самопала засветив кому-то точнехонько под каску.

Его принялись лупцевать дубинками, он взвыл от животной боли, и тут на обидчиков пришелся удар наступления.

Теперь на Смоленской площади началось настоящее рубилово. Обе стороны, смешавшись, как древние рати, били друг друга остервенело. На переднем рубеже мелькал черно-желто-белый флаг, безостановочно колошматя по каскам, слышались женский визг, мужской мат и надрывное «За Родину!»...

Щиты отступали и мешались с хрустом и звоном, как будто треснули льды и потекли по огромной реке. Вот уже захвачены пожарные машины, и развернутые брандспойты обрушили потоки на врагов... Вот уже те побежали со всех ног, а один, забравшись на брезентовый кузов, растирал кровавые сопли и затравленно тарачился.

Омоновцы, солдаты, менты неслись табунами. Толпа гнала их с улюлюканьем, как добычу, пиная слетавшие каски и фуражки.

Виктор, не понимая, что орет, сжав непонятно откуда взявшуюся резиновую дубинку, сменившую поджигу, рванул над туннелем влево. Там уже не было никаких кордонов, и он снова нараспев захохотал от того, что сотни и сотни в зеленом и сером улепетывали от их небольшой бешеной группки по пустому Калининскому, в то время как многотысячная толпа еще не успела повернуть с Садового...

Пуля с шипящим свистом майского жука пролетела у него мимо уха.

Затарахтело, загремело, засвистело...

– Пулемет!

– Автомат!

– Ложись!

Толпа выплескивалась на улицу из-за поворота и металась.

Виктор, слегка пригнувшись, отставая, бежал на выстрелы рядом с парнем с красивым начесом смоляных волос. Окна мэрии золотисто горели под солнцем, как чешуя. Забабахало отрывисто и глухо.

– Помповое, – задыхаясь, процедил парень, – это ж помповым быют...

Вокруг топотало еще множество ног.

– Как будто шампанское открывают, – засмеялся нервным голосом мужчина в косухе и в камуфляжной кепке, поправляя громоздкие очки.

– Тебе лишь бы шампанское хлебать... – сердито ответил кряжистый седобородый человек.

– А, деревенщик... – кисло засмеялся тот, что в косухе. – Чего в деревне не сидится?

– Писатели, не ругайтесь! Вместе ж на тот свет! – бросил парень, хватая себя за начес.

– Писатели? – спросил Виктор.

– Это ж Белов Василий, – парень взмахнул указующей рукой. – А вон это – Лимонов.

Они выскочили под пандус мэрии, где отряд омовцев в синих бронежилетах веером поливал улицу автоматными очередями.

«Фашисты!» – парень потряс кулаком, пробегая дальше. Женщина в серых домашних штанах, вскрикнув, как ужаленная, схватилась за кроссовку и запрыгала на одной ноге. Мужичок в бирюзовом пуховике упал плашмя, накрыв собой стопку газет. Виктор споткнулся об него и растянулся, и тотчас перестали стрелять – нарастал грозный рев моторов. Привстав на колено, Виктор глянул через плечо: семь могучих «Уралов» ехали по Калининскому, заняв все полосы, на крышах развевались пять красных флагов, один андреевский и один черно-желто-белый, сзади валил народ.

– Уходите! Уходите отсюда! Пошли! – слышалось впереди. Фигуры в зеленом побежали от Белого дома к мэрии, и теперь вслед им кричали: – Крысы!

Вот уже первый грузовик начал долбить оранжевую поливалку, отстранил ее, двинул дальше, приминая колючую проволоку. Другой последовал его примеру, подоспел третий... через минуту образовался проход, Виктор бросился туда вместе с другими, которые пихались, как пьяные, подтягивали друг друга за руки, перелезали через кузова и горланили:

– Победа!

– А-а-а-а!

Виктор выскочил на площадь, чтобы увидеть, как по мосту уходил канареечно-желтый бэтээр, а омовцы и солдаты, слипаясь, точно пластилиновые, забились на пандус мэрии и под него, а зеленый бэтээр от мэрии выдавал трескучие очереди в небо, обреченно отгоняя наседавших, а небо стало еще ярче и голубее, наверно, потому, что на его фоне высился белоснежный дворец и оттуда, открыв объятия, спешили люди и изо всех окон махали что было сил.

– Свободны! – заорал Виктор во всю глотку, сложив ладони у рта как рупор. – Вы свободны-ы-ы!

Он заметил среди бородатых баррикадников торопившегося, хромая, десантника-депутата Ачалова с красным крупным лицом, и тут же опять засвистели майские жуки пуль. Все попадали, залегли, покатались, спрятались за грузовики, поливалки, гранитные надолбы и парапеты.

– Украина! С Украины снайпер, сука! – по-девчоночьи кричал подросток, прилегший рядом, поглощая желтыми глазами что-то далекое, и Виктор не сразу понял, что «Украина» – высотка гостиницы за мостом.

От дверей мэрии отделился отряд в касках, паля из автоматов налево и направо и перебежками приближаясь к Белому дому. За ними осторожно полз бэтээр, поводя стволом пулемета.

Обрушилось разом длинное зеркальное стекло возле парадного подъезда. В ответ из окна Белого дома тоже заговорил пулемет, следом на ступени выбежали несколько человек в черных рубашках и беспорядочно застрочили от животов. Виктор разглядел их повязки – белые знаки на красном.

Омоновцы остановились, кинулись обратно, под прикрытием бэтээра исчезли внутри мэрии. Заткнулся снайпер, словно на перекур. Народ медленно, тревожно поднимался, как примятая трава, оставляя несколько неподвижных тел, толчками вливался в дыру, свободную от колючей проволоки, бежал мимо дворца, стремясь быстрее преодолеть опасную территорию.

По Конюшковской улице маршировала серо-синяя камуфляжная стена.

– Софринцы! – гаркнул какой-то осведомленный демонстрант в железном пожарном шлеме.

Во главе батальона шагал квадратный военный с тремя звездами на погонах и седыми усами моржа и ревел в рацию:

– Снайпера еб... ые! Я двух солдат потерял!

Прихрамывая, к нему устремился Ачалов, чье широкое лицо стало совсем красным.

– Снайпера еб... ые! – ревел военный по-прежнему в рацию, глядя не на Ачалова, а в небо, где пролетал косяк птиц. – Прием! Я, полковник Васильев, перешел на сторону Белого дома! Прием!

И они обнялись, хлопая друг друга по спинам.

...Виктор стоял под балконом. Дубинку он потерял. Но и без дубинки чувствовал себя воином, которому теперь только побеждать.

Сначала они братались. С мычанием, с междометиями, восторгом. Он прижимал к себе неизвестных. Неизвестные обнимали его. Баррикадников раскачивали на руках над костерками. Медсестра у подъезда ласково мазала зеленкой нескольких мужиков в ссадинах, здесь же кому-то перевязывали разбитую голову. Он увидел в толпе Наташу, узнал ее по гитаре через плечо; девушка целовалась с Алешей, их заслонили, и Виктор их больше не нашел.

Потом все стали подпрыгивать. В прыжках подбрасывали руки, как будто сдаются или сейчас взлетят. Даже старик с черной палкой вместо ноги подскакивал с цоканьем. И старик, растягивавший гармошку, пытался подпрыгнуть.

– На Кремль! – кричали одни.

– Мэрия! – другие.

– Останкино! – кричал Виктор. Он влюбленно смотрел в центр балкона, где над хилым громкоговорителем навис взмыленный Руцкой с распушившимися усами – волосы комом, серый костюм. Охранники, тоже в серых костюмах, с двух сторон наискось закрывали его кожаным, очевидно, бронированным дипломатом.

– Молодежь, боеспособные мужчины! – голос Руцкого звучал басистым лаем. – Вот здесь, в левой части, строиться, формировать отряды! И надо сегодня штурмом взять мэрию и «Останкино»!

Последнее слово потонуло в раскатистом многоголосом «ура».

– Даешь Останкино! – Виктор, подпрыгнув, щелкнул зубами, прикусил язык, и рот его наполнился медным вкусом крови.

Руцкого сменил Хасбулатов. Пожелтевший, кожа натянулась, он трепещущими пальцами вцепился в рупор и, захлебываясь словами, пронзительно закричал:

– Призываю наших доблестных воинов привести сюда войска, танки! Штурмом взять Кремль и узурпатора! Бывшего! Преступника Ельцина! Ельцин сегодня же должен быть заключен в Матросскую Тишину! Вся его продажная клика должна быть заключена в подземелье!

Последнее слово, выплюнутое с горским акцентом, потонуло в общем ликующем вопле.

Виктора прибило к зданию, где Руцкой с пепельной сигаретой в углу рта круговыми движениями сильных рук хватал, сталкивал людей, выстраивал, ровнял и пихал вперед.

– Александр Владимирович, – заглядывая ему в усы, подлез пожилой генерал, похожий на сухую вялую розу. – Дело пахнет керосином... Оружия нет... Все бэтээры ушли на Садовое...

– Иди формируй отряд, ты мне будешь рассказывать! – Руцкой наставил красноватые свирепые глаза.

– Александр Вла...

– Формируй, твою мать! Рязанцы на подходе!

Руцкой выхватил взглядом Виктора, потряс за плечи, на секунду испытующе заглянул в лицо, – пепел упал, прилипнув серой кляксой автографа на промокшую куртку:

– Будешь командиром!

– Я? Я не умею...

– В армии служил?

Виктор кивнул.

– Годишься!

Там, куда Виктор вывел за собой топочущий не в ногу строй, уже началась куча-мала. Демонстранты продолжали прибывать по Калининскому, и внушительная их часть скопилась у входа в мэрию между двумя створками этого темно-серого небоскреба, швыряя камнями в высокие стекла, которые с праздничным звоном осыпались. Мимо Виктора в сопровождении нескольких автоматчиков пролетел генерал Макашов в чем-то оливковом, с рюкзачком, в синем берете набекрень, с усиками торчком под клювом:

– Чиновников выкинуть на х... на улицу!

– Отлично! – заорал ему пенсионер и поднял вверх руки.

Военный грузовик подобрался к дверям, с рычанием врезался, откатил для следующего тарана и остановился. Донесся автоматный треск, и Виктор увидел солдат в проемах разбитых витрин по бокам от входа.

– Убийцы! – донесся бабий крик.

Появился второй грузовик, лихо, с разгона впечатался в двери, развернулся под участившийся треск автоматов и вмазал по дверям кузовом. Под колесами растекались радужные лужи бензина.

Минуту спустя Виктор вместе с толпой, неудержимо хлынувшей в пробоины, оказался в просторном холле, где сразу стало тесно, хрустели осколки, кругом скандировали: «Не курить!», тут и там поблескивали черные стволы.

С трудом выбрался на улицу.

Сквозь тычки и распаленные возгласы «Позор!» брели потные солдаты и менты, последним в полосатых носках по широко разметанным осколкам ступал мужчина в рубашке с галстуком, съехавшим на плечо. Кто-то отвесил ему оплеуху, он дернулся дать сдачи и немедленно получил еще. «Лужкова зам, – объяснили рядом, – пидор гнойный». Толпа сомкнулась. Раздался громкий выстрел.

В толкучку бросился крупный человек с высоко поднятым пистолетом:

– Прекратить! – И опять выстрелил в воздух.

Это был Константинов, депутат с бородой и залысиной. Люди нехотя разомкнулись. Мимо них, пригибаясь, потащился мужчина, которого словно бы окунули в красную краску.

Потом Виктор слушал генерала Макашова на пандусе мэрии. Из белого рупора рвалось отрывистое:

– Мы взяли эту проклятую мэрию! И теперь на нашей земле не будет больше ни мэров, ни пэров, ни сэров, ни херов!

– Ура-а-а! – разлилось протяжное, и сразу, не стовариваясь, все закричали о следующей цели:

– Ос-тан-ки-но!

Виктор осекся, ощутив какую-то беззаботную легковесность, какую-то дурную нелепицу. Он вдруг вспомнил детей из песенки, выкликающих имя своего героя:

«Бу-ра-ти-но!»

– В Останкино! – исправившись, стал выкрикивать он с натугой. – В Останкино!

Но вместо «восстания» выходило какое-то «восстанкино», что-то мультяшное, снова детское.

Парень в железном шлеме пожарного точными быстрыми движениями спустил по веревке бело-сине-красный флаг с высокого серо-стального флагштока. Сорвал, смял, швырнул через край, как несвежую простыню. Пестрый ком пролетел над головами и упал позади толпы. Ввысь по веревке бежал, как огонь, красный флаг.

Рядом с Макашовым показался молодец в зеленом броннике и, взмахивая рукой, будто звонарь, затряс большой связкой ключей.

Виктор, пошатываясь, отправился к изнанке Белого дома – былолюдно и весело, трещали шикарные костры, дожидавшиеся шашлыков праздника, и звучал воркующий гул:

– Останкино... Останкино...

– Туда пять грузовиков ушло!

– С Октябрьской новая демонстрация идет, двести тыщ, прямиком на штурм.

– А ОМОН чего?

– Какой ОМОН! Город наш!

– Гостиницу «Мир» взяли... Там у них штаб был.

– Дзержинцы к нам перешли.

– Не дзержинцы, софринцы!

– Софринцы, я знаю. Дзержинцы тоже...

– Тульские вэдэвэшники на подходе, будут Кремль брать...

– Слышали, Козырева арестовали? Прямо в МИДе!

– Смотри, смотри!

Он задрал голову. Постепенно, аккуратно, ползуче этаж за этажом, загорался свет во множестве окон. Всё здание состояло из окон, и всё оно наливалось лимонным – тусклым среди солнечного дня – электричеством.

– Свет дали, значит, полная победа! – сказал Виктор каким-то не своим, надрывающим связки голосом.

На площадь одна за другой въезжали захваченные машины: армейские радиостанции, фургонь, автобусы, милицейские газики.

Дом горел целиком, доверху. «Ну всё, Ленка, победили мы... тебя... Что ты теперь запоешь?» – подумал, заморгал, и всего его мелко-мелко затрясло.

Расталкивая людей, он пробился к холму. Сел на землю, обхватив лицо руками. Зубы стучали, тряслись руки и ноги. Он украдкой глянул сквозь пальцы и сжал их плотнее.

Ногти впивались выше лба, в кудри, и он старался делать себе больнее, давить острее, чтобы совсем не пропасть.

– Плохо, что ль? – раздался свойский голос.

Виктор посмотрел вбок, не отлепляя пальцы от лица.

К нему обращался человек в круглых очках, с дряблыми щеками и крючковатым носом.

– Не без того, – сумел торопливо сказать сквозь настойчивый перестук зубов.

– Помираешь? – спросил человек развязно.

– Помираю, – слабо согласился Виктор.

– Ранили?

– Неа!

– А что?

– Сейчас как будто сердце остановится, темнеет перед глазами ужасно, – быстро прожевал жилистую фразу пляшущими зубами.

– Это у тебя паническая атака.

– Атака?

– Атака. Не бойся. Всё нормально.
– Откуда ты знаешь? – повернувшись с надеждой и разжимая пальцы, Виктор обнаружил за круглыми стеклами ореховые пытливые глаза.
– Доктор я, – беспечно объяснил человек. – Снежок ляжет – легче будет.
– Снежок?
– Депрессия у тебя, вот тебе и страшно. Пули напугали?
Не тратя времени на раздумья, Виктор выпалил:
– Дома всё хреново.
– Дома?
– Жена.
– И что она?
– Поругались.
– Бывает. Я сам три раза был женат.
– Я один.
– Довела тебя?
– За... за... затрахала...
– Тебе отвлечься надо. Отдохни. Погуляй. Влюбись в кого-нибудь.
– В кого? – заикаясь от дрожи, спросил Виктор.
– Это уж ты найди.
– Легко сказать: найди, – Виктор оторвал пальцы от лица и, прочно сцепив, с хрустом их заламывал.

– Что, полегчало?
– По-по-чему?
– Да вижу. Отпускает.
– Ни хрена.
– Да ладно, вижу, что лучше! Ты не бойся, главное.
И в пекло не лезь. Осенью со многими такое.
– Что ж, я псих, выходит?
– Все мы психи.

Очки доктора были похожи на фары и поигрывали ироничным отсветом.

Потом Виктор ошалело блуждал от Белого дома к мэрии и обратно. Его всё еще немного потряхивало. Не было ни ментов, ни солдат. Люди растекались потоками среди не желавшего тускнеть золотистого дня. Поливалки были отогнаны и сгрудились в оранжевое стадо за мостом. Длинная очередь выстроилась вдоль набережной к дворцу, на верхней ступени которого пышноволосый молодой депутат Шашвиашвили раздавал сувениры – обоюдоострые лезвия колючки. Запомнившийся по сентябрьскому митингу облезлый, рабочего вида мужичок прикладывал к уху транзистор с вытянутой антенной и звал всех ехать на Никольскую, брать «Эхо Москвы»: там, как сообщало о себе радио, слинял милиционер-охранник.

На ступени ниже стоял, в прищуренном раздумье щелкая нагайкой, казачий сотник Морозов. Рядом с ним белобрысая девочка, помладше Тани, важным голосом просвещала женщин:

– Мне из мэрии подарков нанесли!.. Целый мешок! Конфеты! Орехи! Пепси! Заколок всяких надарили! – Она с гордостью показала в свои солнечные пуховые волосы, где сверкало несколько ярких железных стрекоз. – Колготы поменяла! У меня прежние колготы сгнили... За эти дни-то...

– Сколько ты здесь? – спросил Виктор.

– Давно! Еще до блокады. Мы с мамой пришли, она меня на митинге потеряла. – Девочка бойчила, как маленький лектор. – Я в палатке жила, дождь такой шел, я всё время до нитки мокла. Вот и сгнили колготы. Зато я портянки научилась завязывать. В блокаде нормально

было. В столовке нас кормили, бутербродами. Еще этот давали... лаваш... Теплый, вкусный. Все простыли, а я ни разу не чихнула.

– Как обстановочка? – К казаку спустился депутат с обрывком колючки в кровоточившей свежими веселыми порезами руке.

– У Хаса был... – казак напряженно шурился за реку.

– Что говорит?

– Да что... Сидит с трубкой. На столе машинка, грузовичок. Он его катает и поет: «Хаз-булат удалой, бедна сакля твоя...»

– Правда-правда, – засмеялась девочка, как будто подыгрывая.

– Э-э, простите... – насколько мог вежливо спросил Виктор. – А где еще такое дают?

– Какое такое? – депутат глянул подозрительно.

– Да вот такое... – Виктор показал на обрывок колючки. – Домой отвезу, жене и дочке. Расскажу, как мы победили!

– Какое домой? – Депутат изучал его неожиданно холодными глазами. – В Останкино езжай!

– В Останкино? – переспросил Виктор и забормотал, словно оправдываясь: – Конечно, поеду! Я давно говорю: даешь Останкино! Телевидение – это сила...

Подошли парни, наряженные в омоновские доспехи, приволокли из неизвестности ящики бадаевского пива и несколько блоков сигарет «Магна» и стали раскладывать на ступенях.

– Будешь? – Румяный человек-гора, похожий на героя былины, протянул бутылку.

Виктор сделал горьковатый глоток. Сдувая пузыристую пену с верхней губы, увидел, как компания человек в пятьдесят, главным образом подростков, уходит по мосту под многоцветным экзотическим флагом ПОРТОСа с вожатым, державшим автомат наизготовку. «На Тверскую. Телеграф брать», – горласто объявил кто-то.

– Уберите выпивку! Я буду жаловаться! Не позорьте ряды! – появился узколицый человек с противогазом через плечо.

Прикладываясь к бутылочке, Виктор пошел в сторону Калининского.

Военные грузовики с ревом выезжали туда и уносились на большой скорости, им кричали и махали с тротуаров и принимались уверенно и увлеченно обсуждать, куда те поехали: на Лубянку, в Минобороны, в ТАСС, в Краснопресненское РУВД за автоматами, потрошить оружейный магазин, в Таманскую дивизию за подмогой...

Он провожал их долгим взглядом, и ему казалось: они несутся напрямик к прощальному солнцу.

Игорь Клев

Хроники 1999 года

Просил же ее не умирать, но она не смогла – не захотела или не сумела. Процесс зашел слишком далеко. Семь лет спустя, возвращаясь к записям и почеркушкам того времени, я отчетливо понимаю, что иначе быть и не могло. Последние советские пенсионеры являлись чемпионами по выживанию, но девяностые годы истощили запас их терпения и ополовинили состав. Множество куда более молодых людей навсегда осталось в 1999 году, как в отцепленном вагоне. Им не довелось переступить порог миллениума – с его пустыми страхами и дурацкими надеждами. Нас пугали сбоем компьютерных сетей из-за обнуления цифири в дате и грядущими катастрофами (они, и вправду, произойдут вскоре, только не по этой причине). Турагентства всюду заманивали на острова в океане, чтобы первыми встретить рассвет 2000 года. И что бы ни говорили здравый смысл и простой арифметический расчет, новое тысячелетие действительно наступило в 2000 году – когда посыпались нули, будто в кассовом или игральном автомате, и выскочила впереди двойка.

А до того на Пушкинской площади Москвы крутилась на оси денно и ночью бутылка пива «Балтика», размером не уступавшая статуе поэта, и над неоновыми коврами рекламы американских сигарет, хавки и пойла, натянутыми на фасады, светился электронный счетчик: «До 2000 года осталось столько-то дней!». Магазины «Наташа» и «Армения», здания газет «Известия» и «Московские новости», гибрид кинозала «Россия» с казино – с гирляндами лампочек и великанскими бутафорскими кочанами несуществующих растений, – а посреди всего этого Пушкин, как Каменный Гость или Ревизор, застывший в окружении прозрачных и прозрачных ледяных скульптур. Москва неудержимо превращалась в столицу мультяшек.

Моя жена звалась Наташей, предыдущая была армянкой, и той зимой я сочинял сценарий телефильма к 200-летию Пушкина, которому дал название «Медный Пушкин» – ретивый режиссер позже без спросу пришил ему за чем-то хвост: «Страстная седмица». Бог нам всем судья – сколько звезд и лычек на погонах у каждого, только с неба и видно. Но я не о лычках, а о дальних подступах к смерти матери.

За девять месяцев до того. Зима

Той зимой Россия корчилась и отходила после дефолта. Как и большинство знакомых, я потерял работу еще осенью. Отчетливо помню inferнальное ощущение той поры – когда позакрывались оптовые рынки, банки и банкоматы, в супермаркетах опустели полки и витрины, осталось одно аварийное освещение под потолком, а продавщицы принялись опять всласть хамить покупателям и перелаиваться с истеричными, взвинченными старушками. Что называется, мастерство не пропадет. Весь лоск и блеск последнего пятилетия слиняли за неделю, вместо изобилия – висячие замки, вместо мишуры – тусклая и злая нищета. Это был философский момент в новой истории России, и он достоин того, чтобы его запомнить. Не революция и беспорядки, а вот так, почти на голом месте: «где стол был яств, там гроб стоит».

Между тем, тот год заканчивался для меня более чем удачно. После нескольких лет пребывания в Москве у меня вышла, наконец, первая книга, и одно это оправдывало всю авантюру репатриации – переезда в сорокалетнем возрасте на голое место, на птичьих правах, как головой в прорубь. Я пожинал теперь плоды и грелся бы в лучах признания в литературных кругах, если бы все не было так скверно. Но всегда оказывается позднее, что это и была твоя жизнь, а возможно, и счастье. Эта книга, в которую не вошла ни одна «толстожурнальная» публикация, особенно прищлась по вкусу старикам, юнцам и рецидивистам. Невообразимо, но она вышла, когда экономика пребывала в стадии клинической смерти. Я бы сверзился со стула, будь моложе, когда по возвращении в Москву из разоренного Львова и меланхолических осенних Карпат вдруг услышал по телефону:

– Как, ты не знаешь еще, что твоя книжка издана?! Она уже поступила в магазины.

Гонорар я взял натурой и нанял машину, чтобы отвезти двести экземпляров книги домой – да, именно «домой», в съемную квартиру, за две с лишним сотни долларов в месяц. У лифта незнакомая соседка посоветовала мне не пытаться вызвать малый лифт, а воспользоваться прибывшим грузовым, и я послушался. Не успел я закинуть в его кабину несколько пачек книг, как дверь стала закрываться. Я попытался остановить ее ногой, обутой в ботинок на толстом протекторе, однако дверь не собиралась останавливаться и намертво его защемила. Я попросил свою доброжелательницу нажать на кнопку вызова лифта. Мне это никак не помогло, зато спустился малый лифт. Сочувственно покачав головой, женщина дала мне тогда другой совет – вызвать аварийную, после чего укатила на свой этаж. Я же остался стоять на одной ноге, с зажатой в тисках другой, и двумя пачками долгожданной книги в руках. В таком положении я не мог дотянуться до кнопки лифта, а связаться с лифтерной можно было только из кабины. Меня душила ярость и одновременно разбирал хохот. Это был хороший урок, и он не сделал меня лучше. Увы.

Местность, где мы поселились в конце самой длинной ветки метро, звалась Ясенево. Кроме названия и чистого воздуха, у этого спального района имелось лишь два достоинства. Полуразрушенная усадьба Узкое, с каскадом прудов, и Битцевский лесопарк, в котором тогда еще не завелся серийный маньяк, – чудное место для лыжных прогулок по пышному снегу, скрывающему бытовой мусор. Но удивительным образом из этой комфортабельной ночлежки на несколько сот тысяч человек выветрилась та сухая злоба имперских задворков, памятная мне еще по советскому времени, когда сюда не дотягивалось метро: всегдашние очереди за водкой, автобусы, редкие днем и набитые под завязку утром и вечером, пустынные прачечные, с перерывами на обед и бесконечными переучетами. Странное дело – люди и среда обитания могут оставаться почти теми же, небо все то же и театр облаков на нем, а атмосфера меняется каждое десятилетие, будто состав воздуха становится другим. Весной 1999-го ясеневские универсамы вдруг стали один за другим превращаться в западные супермаркеты, и это было удивительно. До того гиганские торговые площади делили советские прилавки с каким-то подобием

бутиков, все более дорогих, современных и всегда безлюдных. Мы с женой в итоге решили, что покупатели их хозяевам и не нужны, кто-то просто отмывает деньги – как в брежневское время ежегодный косметический ремонт школ служил недурным прикрытием для расхищения социалистической собственности.

Запомнился кавказец на ступенях нового крытого рынка у входа в ясеневское метро. Ни к кому не обращаясь, он суммировал свои ощущения от новой жизни в произнесенной с сильным акцентом фразе:

– Теперь демократия – делай что хочешь!..

И еще одна сумасшедшая на пяточке перед «Кропоткинской», где у меня было назначено с кем-то свидание. Повертелась, подошла, спрашивает, как проехать куда-то и где «хазановский театр», а затем в лоб:

– Как твое имя?

– Я не знакомлюсь на улицах, – отвечаю ей.

– А меня зовут так-то, – по фамилии, имени и отчеству, – и я знакомлюсь на улицах: с Пресвятой Девой Богородицей... и храмом Христа Спасителя!

Глаза ее сузились от злобы:

– А ты, ты упустил свой шанс!..

Возможно. Кавказец был пухлый – и ноги козликом, сумасшедшая – злющая, как сучий потрох, с сединами, выкрашенными в огненный цвет, а я – никакой. Я, вообще, передвигаюсь по Москве пробежками – из точки А в точку В, С, D (если их оказывается больше, домой возвращаешься чуть живой), потому что для меня это никакой не город. Как должен, примерно, выглядеть город, я знаю – меня не проведешь.

Мы жили наперегонки с разваливающимся, а затем крепчающим государством – всегда, однако, заинтересованном в том, чтобы меня, нас, не было. Сперва я его обошел, какое-то время мы шли ноздря в ноздю, и вот я начал отставать. Правила игры менялись скорее, чем я успевал что-то предпринять – в сомнительном и шатком положении нелегального иммигранта. Оставалось мимикрировать в толпе, из которой в метро и на улицах выдергивали таких, как я, и положиться на помощь небесных сил, без которых все мои потуги закончились бы крахом. Но помощь всегда приходит через людей, это они протягивают тебе – не руку, а палец, не шест, а соломинку, и удивительно, такой соломинки оказывается всякий раз достаточно, чтобы выстоять.

В первый ясеневский год из несъедобного мы с женой смогли купить только телефонный аппарат и подключить его вместо оглохшего хозяйского, со спутанной «бородой» телефонной «лапши». Но и этот целыми днями молчал. После сорока приобретаешь уже только новых знакомых и приятелей, а друзей начинаешь терять, где бы ты ни жил. И все же за несколько лет вынуждено затворнической жизни в Ясенева у нас перебивали сотни людей. Весьма успешные и самоубийцы, иностранцы, эмигранты, иммигранты и просто мигранты, москвичи и провинциалы, старики и совсем юные создания, несколько старых друзей, нечаянные гости, коллеги и сотрудницы, соседи, родня. Переселенцам во всех странах достается, как правило, выполнение самой тяжелой, грязной или сомнительной работы, и интеллектуальный труд в этом отношении не представляет собой исключения. Реклама и пиар, политиканство, бульварная журналистика, массовая литература и актуальное искусство – один чёрт, – речь всегда идет о мере продажности и границах компромисса. И здесь недопустим самообман, потому что расплата неизбежна, если ты хочешь чего-то достичь. А ты хочешь, иначе бы не устремлялся в перенаселенный мегаполис, в столицу, перегонный куб для всероссийской браги. Москва – это такая работа и наша «внутренняя Америка». Ты выбрал сам.

Жаба, поселившаяся в середине девяностых на левой стороне моей груди, понемногу отпускала, и через пару лет я смог вернуться к крепкому кофе. Обращенная на себя агрессия доела мои зубы, но пародонтоз – процесс затяжной и почти естественный. Распровавшись

с прежней жизнью, я неожиданно ощутил, до какой степени она неотторжима. Она поселилась в моей плоти, подчинила себе память, завладела снами, превратив сновидения на долгие годы в арену разрыва и расставания в повторяющихся декорациях оставленных мест. Интенсивнее всего я общался теперь с теми людьми, которых не было рядом, а то и на белом свете. Из корпускулы, какой был всегда, я вопреки собственной воле превращался в фазу волны. Смерти я больше не искал, но и перестал ее бояться, убедившись, что не являюсь уже только самим собой – уйма людей потрудились над моей жизнью и продолжала свое существование во мне. И не только людей.

Той зимой мы договорились с писателем Андреем Б., жившим на два города – в Москве у Ленинградского вокзала, а в Питере у Московского, – сделать фильм о пушкинских юбилеях для канала «Культура». Я нарыл кое-что в библиотеке ЦДЛ, и мы встретились в его берлоге на Краснопрудной, где телефон в отличие от моего трезвонил без устали, напоминая этим штаб неизвестно чего. Здесь уже находились журналистка из свиты писателя и какой-то холеный прыщ, ведущий ток-шоу на телевидении, сделавший передачу об антисемитизме в России. Его, как и меня, Андрей прочил на какую-то среднего размера премию, с вручением ее в Париже, которая так и не была впоследствии учреждена. Знакомя нас, он вспомнил реплику циничных могильщиков, нечаянно подслушанную на недавних похоронах главного перестроечного беллетриста и неожиданно связавшую телевизионщика со мной общим сюжетом:

– Опять эти евреи думают, что очередного Пушкина хоронят!..

Результатами встречи хозяин штаб-квартиры остался доволен и даже что-то напевал речитативом, собираясь на прием в очередное посольство. Правда, мы немного выпили перед тем. В застолье он был почти не хуже, чем в литературе, разве что случайнее. Но главное, в нем совершенно отсутствовала мелочность, обычная в писательском мире. Мне хотелось чему-то у него научиться, но я этого никогда не умел из-за глупого упрямства. Горбатого могила исправит.

В этой же квартире бывал персонаж последнего романа Андрея и сам писатель Даур – абхазец и мой ровесник, перебравшийся в Москву чуть позже меня. Он пытался соперничать с Фазилом (а чегемская лошадка двоих не вывезет), за глаза обижался на Андрея, барскую Москву и абхазскую диаспору, по-восточному грубо льстил в глаза женскому полу и литредакторам и пытался начать новую жизнь. В родном Сухуми он потерял все – родительский дом с конюшней в войну сожгли, жена умерла от скоротечного рака, сына он с огромным трудом устроил в московский вуз, но тот не желал учиться, у самого него не было никакого паспорта, кроме просроченного советского, большой мир оставался для него недоступен, а в Москве его регулярно отлавливала милиция как «лицо кавказской национальности». Логика развития событий привела его сначала в правительственную газету, где он обзавелся журналистским удостоверением, а затем – в глянцевого отпрыск «Коммерсанта», где публиковали его небольшие сочинения на вольную тему, а использовали для небезопасных командировок в Чечню, откуда он привозил скандальные интервью с Салманом Радиевым или Зелемханом Яндарбиевым, тоже писателем. Человек простодушный и талантливый, к боевикам и криминальным авторитетам Даур испытывал неподдельный интерес и тянулся к ним. Напиваясь у меня на кухне, однажды заявил, что любой вор Андрея «построит», а тот его нет. Признавался, что ему, православному и крестнику Андрея, в душе ближе ислам, потому что он честнее и мужественней. Предлагал поехать с ним весной в Абхазию. Спрашивал, отчего ему так плохо? Напиваясь с ним, я ответил тогда:

– А ты еще не знаешь? Да ты умер в своем Сухуми, как я в своей львовской мастерской на раскладушке! А сюда попал после смерти, и от тебя зависит, сумеешь ли ты здесь прожить еще одну, другую жизнь.

Он рассказал мне, как вскоре после окончания войны сходил на родное пепелище, и нечаянно оказался свидетелем готовящегося расстрела. Подростки, которым не удалось в силу воз-

раста повоевать, стремились наверстать свое. На свое несчастье сосед Даура, богатый глупый грузин, вернулся, чтобы хоть шерсти клок урвать от своего бывшего благосостояния, когда самые элитные сухумские квартиры уже невозможно было продать даже за бесценок. Обвешанные оружием мальчишки поймали его и поставили к стенке. Даур по горячности сердца и простоте накинута на них:

– Да вы что, это же наш сосед, война закончилась, уберите сейчас же автоматы! – и все в таком духе. В былое время уши надрал бы, но краем сознания Даур вдруг начинает понимать, что перегнул палку, сейчас его поставят рядом с этим грузином и расстреляют за компанию.

И тогда его, опытного тамаду-златоуста, осеняет. Не снижая тона, он кричит подросткам:

– Немедленно его отпустите! Возьмите себе лучше его машину!

– Какую такую машину?!

Вскрывается гараж, в котором оказывается новенькая алая иномарка. Мальчишки забывают обо всем на свете при виде такой красоты. Обступают автомобиль, трогают, гладят, пытаются открыть дверцы. Сосед Даура, только что приготовившийся расстаться с жизнью, дергает его за рукав:

– Машину, машину тоже у них заберите!

Мне Даур сказал с брезгливостью, что больше он этого соседа не видел – если не вернулся в Грузию, скорее всего мальчишки прикончили его где-нибудь в подвале.

Даур успел написать по-русски и опубликовать замечательный абхазский роман о зарождении кавказской войны, в котором не было даже близко подобных сцен – потому что не вспомнить ему хотелось то, что случилось позже, а забыть. Умер он летом 2001 год – как мне сказали, от передозировки. Черту миллениума он преодолел, но это не уберегло его. Тело Даура сын увез в Абхазию. На поминки перед отправлением тела на родину я не пошел – в тот день в Москву приезжал мой отец с внучкой, надо было их встречать.

Позже нас с Дауром здесь появился в 1999 году другой Андрей, когда-то опубликовавший меня впервые в своем журнале. Это был гость с северо-запада, полулатыш-полуцыган и русский писатель, совершенно лишенный темперамента. По мере атрофии у читателей языковых рецепторов число его почитателей росло. Мы обнимались при встречах, как старые друзья. Десятилетием раньше, я укорял его, рискуя обидеть:

– Ну почему твои тексты так напоминают инструкции по пользованию холодильником?!

Со временем он попытался имитировать страсть при помощи эпитетов, но выходило вычурно и ненатурально, вроде «смерть, серебряная тварь». Лучше всего ему удавался один сюжет, растянутый им на несколько романов. Герой едет в метро на работу или с работы, делает пересадки, выходит, заходит в магазин, что-то покупает, стоит, смотрит и курит, опять куда-то едет или идет, не жизнь – а сплошная метафизика. Но нечто подобное, и лучше, уже было сделано Вендерсом в «Небе над Берлином». В нем меня всегда удивляла неспособность к решительному выбору. Начинать он начинал, но в дальнейшем ожидал, что все само как-то устроится или рассосется, что первоначального усилия достаточно. Деизм своего рода.

Уже года через два он мне заявит, что потенциал этого места, России то есть, исчерпан, проект закрывается, надо возвращаться или двигать куда-то дальше. Я отвечу ему, что ни двигать куда-то еще, ни тем более возвращаться, не собираюсь, мой выбор окончателен, чем бы он не обернулся. Работодатели пошлют его поработать в Киев, но через год он поймет, что это та же Рига. Тогда он вернется в Москву, несколько раз сменит жилье, поселится в Интернете, примет латышское гражданство и мы перестанем видеться. С тех пор всякий раз я изумляюсь, ненароком встречая его во плоти.

Той зимой мы в охотку встречались и вместе выпивали – то у него в Филях, на съемной квартире, то у нас в Ясенево. Он и его жена отучились когда-то здесь, на математическом и психологическом факультетах МГУ. Своим соученикам они ничем не уступали, но испыты-

вали со студенческих лет демонстративную ровную неприязнь к успешным москвичам. Энергия социальной неудовлетворенности нас и сблизила в конце восьмидесятых, когда глиняный колосс неожиданно поскользнулся на шкурке от банана. Метафора, кстати, не такая уж рискованная – до самой середины девяностых тротуары российской столицы утопали в гниющих кучах банановой кожуры. Боюсь, если я добавлю еще что-то, то погружусь в историю этой странной и в чем-то басенной пары, – служебного романа Лисички-сестрички с пугливым Сурком из немецкой колыбельной, глотавшим пригоршнями транквилизаторы, – но нет у меня на это теперь времени и места.

Кто говорит А, должен сказать и Б, В, Г и т. д. Как и этот второй Андрей, другой мой товарищ, назовем его Борис, также пытался жить на две страны – и там, и здесь. Той зимой состоялась презентация придуманной им книги в железной коробочке, изготовленной в Германии, из которой впоследствии много чего произошло – даже издательство, в котором я успел издать дюжину отменных книг, которые скверно продавались. Что-то происходило с литературой, и та книжечка в жестянке явилась макетом ее цинкового гроба. У нее была модная верстка, такая, что читать невозможно – игра шрифтами, свисающие хвосты фраз, офсетная печать и тонировка страниц, на которых люди с именами были перетасованы с маргиналами. Борис работал на стыке сценографии, дизайна и «креатива», однако главным его талантом было находить спонсоров и дружески помогать им конвертировать деньги в некое подобие славы. Книжица, да еще в таком необычном футляре, выглядела офигительно, и Боря устроил две ее презентации. На старый Новый год – в имперском актовом зале Ленинской библиотеки, превращенном на один вечер в филиал отвязного ночного клуба, с продвинутыми диджеями, балетным перформансом, стробоскопами и фриками столичной тусовки, смешавшимися в толпе с газетчиками-хроникерами светской и культурной жизни и корифеями отечественного постмодерна. Весной, когда поспела зеленая тетрадка в клетку №1999, помещавшаяся в ту же коробку, все прошло куда скромнее – если не считать тех же диджеев, цирка лилипутов, изрыгавших и глотавших огонь, мангалов во дворе Музея искусства Востока и бегавшей по двору курицы, покрашенной серебрянкой.

Ошалелый Даур, попросивший взять его с собой, тихим апрельским вечером увидел незнакомую Москву следующего поколения, не редакционную и не бандитскую, с которой до того, как пишущий профессионал и житель окраин, он не пересекался, – чужую еще больше, чем прежде. Москву в густом марихуановом лесу. Для полноты впечатления по пути к метро я завел его еще в рыбный павильон на крошечном и грязном Палашевском рынке, где в аквариуме отсиживались огромные омары, с прихваченными цветным скопом клешнями. Моих заработков не хватало на покупку такого зверя, и я довольствовался созерцанием и креветками, испытывая, тем не менее, глупую гордость от того, как стремительно Москва превращается в мировой город, в своего рода универсум. Всего несколько лет назад нечто такое показалось бы неуместной галлюцинацией. Как и Горбушка тех лет, где можно было купить или заказать пиратскую видеозапись любого кинофильма, когда-либо где-либо снятого. В новогодние праздники я дал приятелю посмотреть присланную из Германии кассету сюрреалистических мультфильмов Шванкмайера – его сын в ближайшие выходные отправился на Горбушку и привез оттуда полдюжины кассет с фильмами Шванкмайера. То же происходило с книгами, с подключением к Интернету, с возможностью худо-бедно прокормиться литературным трудом, и одно это способно было примирить меня со всеми невзгодами и невыгодами собственного положения. Моя жизнь на вольных хлебах больше всего походила на езду на одноколесном велосипеде. Это была работа на износ.

А тут еще в последние дни зимы случилось непредвиденное. Наша с женой жизнь пошатнулась, как этажерка, и едва не обрушилась от внешней причины. Во Львове серьезно заболела ее сестра-близнец, и жене пришлось вернуться на месяц в семью, из которой я ее забрал, – не только вытаскивать сестру, но и позаботиться о малолетней племяннице, беспомощном отце

и покусанном соседским псом добермане-девственнике, покуда сестре не сделают операцию, и та не вернется из больницы домой. Муж сестры, живший на две семьи, договорился с хорошим хирургом, но сам вынужден был укрыться где-то в Англии, после того, как его автомобиль обстреляли на трассе под Киевом и неясно было, кто его заказал. Моя жена взяла на работе отпуск за свой счет и уехала, на нервах и в слезах.

Этот отъезд выглядел тревожным и тяжелым отголоском событий трехлетней давности, когда в день и час ее приезда ко мне, в снятую наконец в Ясенева квартиру, ее мать прямо на работе хватил инсульт, и вечером она скончалась во львовской больнице, так что наше долгожданное новоселье, не успев начаться, завершилось сборами в обратный путь. Мать моей жены и обе ее замужние тетки не испытывали доверия к мужчинам и собственным дочерям, и оттого старались удерживать их при себе сколько возможно. Незадолго до войны дед оставил бабу с ними тремя на руках в глухом сибирском поселке и поехал в сытую Белоруссию, пообещав вернуться и забрать их, но они напрасно этого ждали – он не появился больше. Недоверие и опасения матери не были беспочвенными: одна ее дочь уже принесла дочку в подоле и собиралась отселиться, теперь и другая оставила ее и отправилась в другую страну к сожителю – мы тогда еще не были расписаны. Кровь ударила молотом в голову матери, когда ее дочь сошла на перрон Киевского вокзала в Москве.

Недели шли, я бесился и терял терпение, трудясь, как кустарь-надомник, над текстами, которые не представлял пока, куда и кому можно будет продать. Вероятно, те тексты очень хотели написаться, потому что главную часть работы за меня выполняли «мышы бессознательного» – по пробуждении мне оставалось только удалить плевели, привести натасканное грызунами в соответствие с русской грамматикой и издать под своим именем. За месяц только несколько раз я выбирался в город. Денег оставалось в обрез, и я перешел на сигареты без фильтра. Что-то нехорошее витало в атмосфере и сгущалось над головами.

На пороге зимы погиб при переходе Садового кольца переводчик Андрей Сергеев – на разделительную полосу выскочил внедорожник, растер недавнего букеровского лауреата по асфальту и умчался. Для погибшего я оставлял в ПЕН-клубе опубликованную рецензию на его автобиографический роман – но что ему было теперь до каких-то земных рецензий? У нас обоих первые публикации появились в «перестройку» в рижском молодежном журнале. На корпоративном выпивоне я как-то посетовал, что мне было тогда неполных 37 лет. Покачиваясь с носка на пятку, он укоризненно заметил скрипучим голосом:

– Да у вас счастливая литературная судьба – мне было неполных шестьдесят!

Он собирал марки и монеты, лечил и вставлял зубы, таскался на литературные чтения и умер как законопослушный пешеход. Он застыл, на свою голову, на красный свет и, подобно Чапаеву, уже не доплыл до другого берега Садового кольца.

В конце зимы позвонил с Волыни родственник жены, работавший бригадиром на золотых приисках в Якутии. Его младший брат замерз по пьяне на Индигирке, и вместе со средним братом они летели теперь через Москву, чтобы забрать тело своего младшего, неженатого и непутевого. Кто обижается на жизнь, довольно скоро оказывается в объятиях ее сестры-близнеца, смерти, утоляющей все обиды и печали. Золотоискатели дважды переночевали у меня, по пути туда и обратно. С немалым изумлением я узнал от них, что живу в стране, где признана нерентабельной добыча не только золота, но и алмазов в условиях вечной мерзлоты, и легальные прииски находятся под угрозой закрытия.

Побывал у меня и другой родственник жены в ее отсутствие – авиадиспетчер-камчадал, каждой зимой отоваривавшийся одеждой на Черкизовском рынке и забивавший наш холодильник красной рыбой собственного засола. Раз в году он мог летать бесплатно. О своих приездах он никогда не предупреждал заранее и звонил уже по прилете из телефона-автомата. Я охотно с ним беседовал за столом и терпел его храп по ночам, но убедить его изменить своему обыкновению сваливаться на голову было невозможно, он переставал тебя слышать. На этот

раз из Москвы он слетал еще и в Сочи на неделю. Прощаясь, он в очередной раз назвал меня каким-то «Олежкой», правда, тут же поправился, облобызал, и исчез ровно на год.

В почтовом ящике я обнаружил неожиданно письмо от своего школьного учителя английского языка (бумажные письма, от руки или на пишмашинке, тоже не пережили 2000 года – а я их так любил, как дай им Бог любимым быть другим!). На листках из ученической тетради в ернической манере он сообщал, что до него дошли слухи о моих успехах, а как мне должно быть известно, у него самого имеется тридцать тетрадей «политической и гуманистической лирики» – поэтому не могу ли я ему помочь издать их в столице? Назвать свою книгу стихов он хотел бы так – «Чистой любви родник». Может также предложить издателям сочиненный им «Курс английского языка» – даже на пенсии он умудрялся зарабатывать частными уроками на пяти языках для без пяти минут эмигрантов. На полях по вертикали было приписано: «Изыскивай способы». Себя он когда-то считал скрытым диссидентом-одиночкой и, действительно, в десятом классе давал мне почитать Солженицына и кое-что свое неподцензурное, – продолженную им «Историю России от Гостомысла до наших дней» и прочую стихотворную публицистику, – соблюдая при этом смехотворные правила конспирации. Меня он позднее считал если не скрытым кагэбистом, то уж во всяком случае ловкачом и циником, закосившим под «модерниста». Его письмо было до такой степени письмом с того света, что и ответить на него было невозможно, и не ответить нельзя. Я написал ему, что псевдоним «Игорь Волгин» не годится, поскольку уже есть в Москве один Игорь Волгин, что поэзия – это не стопка тетрадей со стихами в столбик в ящике стола, а нечто другое, и что дорого дал бы, чтобы посмотреть со стороны, как он сам предлагает московским издателям книгу с таким, как у него, названием.

Бомбил меня той зимой похожими письмами еще и однофамилец нобелевского лауреата из Владимира – звонил, присылал рукописи, пестревшие словами вроде «киллометр» и т. п. Этот готов был на все: «Меня мораль не волнует, мне бы денег подзаработать, я живу на \$10 в месяц!» И через пару лет своего добился – не одного меня бомбил, значит. Хотя один его клинический рассказ показался мне стоящим публикации: о художнике, обрившем голову наголо, когда ему показалось, что волосы принялись расти у него внутри головы, а затем таким же образом облегчившем жизнь и своему папаше – зажав его башку между колен и выскоблив ее опасной бритвой, как тот не трепыхался. Я попробовал предложить этот физиологический очерк кое-кому, но для одних он был слишком плох, а для других – уже слишком хорош. Тогда как он был просто правдив.

– Сколько живет сегодня во Владимире художников мирового класса?

– Пять-шесть.

– Да ты в своем уме!?

– Ну тогда три.

Рассказано одним из них.

Я с опаской поэтому отнесся к тому, что мой отец записал для любимой внучки свои воспоминания, в частности – о войне, только они одни меня интересовали. О том, что он закончил их, я узнал от матери в начале весны. Она всегда ждала моих звонков по выходным. Сам я ждал выхода повести о карпатском лесничем – ее недавно умершем старшем брате. Литредакторы к тому времени вспомнили о своем существовании, приободрились и попытались вернуть утраченную власть, я же не привык к чьему бы то ни было вмешательству в свои тексты. Они ценили безукоризненность слога и правильность построения, а для меня литература без сдержанной ярости была, что гроб повапленный. Вечная проблема авторства: «Это же наш журнал!» – «Но это же моя повесть!». Хороший редактор необходим любому тексту как воздух, но лучше, если им будет сам автор. Забегая вперед, скажу, что записки отца год спустя мне удалось опубликовать в одном из толстых журналов – мать этого уже не узнала. В своей

военной части письмо отца было голо, как сама война, – будто пережитая подростком беда, от которой перехватывает горло, водила его пером.

Мать тяжело переживала смерть брата, и я не знал, показывать ли ей повесть. Дело было не в ней, а в отце, который с неодобрением относился ко всему, что я ни делал с семнадцати лет, как только от них ушел. Он охотно принимал моих жен и своих внучек, но уже внук вызывал у него только раздражение – и дело было не в покладистости или строптивости характера, а в скрытом соперничестве. С ними и теперь жила моя племянница, пока у младшей сестры все никак не получалось наладить семейную жизнь в Одессе. Мою сестру они не отпускали от себя до тридцатилетнего возраста, что не могло закончиться добром. Внучку они из каких-то соображений не отдали вовремя в школу и той весной стали готовить ее к поступлению сразу во второй класс.

Весна. Война

Как и положено в России, весна наступила в конце марта. А с ней, как гром среди ясного неба, война в Югославии. Этот ёханный саксофонист сделал это! Примаков молодцом развернулся над Атлантикой и тем спас честь российской дипломатии, за что в скором времени был отправлен в отставку.

Моя жена узнала о бомбежках Белграда из поездного радио, разбирая постель. Обычно украинские гастарбайтеры напивались в поездах по пути в Россию и обратно, но тут весь вагон затих и залег на полки, будто это касалось всех пассажиров. Семья вернула мне жену 25 марта, нарочно не придумавшись – в годовщину смерти ее матери.

Я был в бешенстве и второй или третий раз в жизни написал публицистику: как поколение 68-го года, – Билл с Тони, «зеленый» Йошка и похожий на университетского профессора Солана, под дружное одобрение чехов с поляками, венграми и прочими, – совершило гадость, от которой воздержалось бы трезвое поколение «ястребов», – похожая на кондора Тетчер, военный летчик Буш-старший и даже киноковбой Рейган, – и как объединенная Европа уселась вдруг посреди променада в кровавую югославскую лужу. Андрей-младший смог поместить это в своем сетевом издании в выходные, в отсутствие начальства.

До той поры, вопреки всему, я еще не чувствовал себя преданным. «Вы» перекраиваете мир и воруете, но и мне, в силу занятости и по недосмотру, даете жить, как я хочу, – что было невозможно «до» и все более невозможно «после». Но тут стало окончательно ясно, что миролюбие повсеместно понимается как сдача на милость победителя – если такое позволяют себе на голубом глазу страны свободные и сильные. Мое поколение страдало дряблостью воли, но оно же было самым миролюбивым, самым небитым и благополучным из тех, что я знал. Пришла пора восполнить пробелы в его образовании – и кто-то должен был этим заняться.

Несколько дней по всем российским телеканалам показывали голого генпрокурора, после чего тому пришлось расстаться с опозоренным мундиром и, прикрываясь тазиком и огрызаясь, с огромной неохотой ретироваться с политической арены. На все лады горячо обсуждался вопрос о создании цензурного комитета. Лужок давил на комиссию ЮНЕСКО, чтобы новодел храма Христа Спасителя был включен в список памятников мирового значения, в очередной раз добивался от Госдумы особого статуса для столицы и открыл с президентом Кучмой Культурный Центр Украины в Москве. Юг бурлил. В Ташкенте бывший комсомольский поэт устроил канонаду, чтобы захватить со своими сообщниками власть, за что получил в Европе статус политического беженца. Собирались закрывать российско-чеченскую границу, из-за которой все громче доносились похвалы вождям мятежников занять Москву, взять Кремль и восстановить в России конституционный порядок силами двух тысяч абреков.

В единственной газете, которую я просматривал по четвергам из-за книжного приложения к ней, появилась остроумная заметка о главном джинне российской политики, БАБе, как очередном «еврее Зюссе». Ничего личного и этнического, все как в романе Фейхтвангера. Зюсс сделал свое дело – научил королевский двор конвертировать власть в деньги – Зюсс может уходить, так будет лучше для всех. Тогда как ополоумевший завлаб БАБ, подсевший на мегаватты власти и мегатонны денег, добивался ровно противоположного. История имела трагикомическое продолжение, когда герой газетной заметки, предлагавшей ему поселиться в Швейцарии и написать лучшие мемуары XX века, взял эту газету в прикупе, «до кучи» с другой газетой и телеканалом. А возникла к тому времени верная примета: как только главный редактор очередного издания или канала начинает петь петушком о широте мышления своего хозяина и собственной независимости, это значит только, что час его пробил – он уже под мышкой у куроеда, и тот его слегка придавливает, как шотландец волюнку, чтобы насладиться напоследок тремоло его неподкупного голоса.

Далекий от политики немецкий культурный фонд, предложивший своим лауреатам и стипендиатам, и мне в том числе, отметить 200-летие Пушкина туром Москва – Михайловское – Петербург, неожиданно отозвал свое предложение после начала бомбежек того, что еще оставалось от Югославии, чтобы по дороге не перессориться русским с немцами из-за сербов. Случалось уже такое. Пострадали тем временем американское посольство в Москве на Садовой – его фасад толпа россиян забросала краской и яйцами, а бандюги еще стрельнули спяну из гранатомета и умчались на автомобиле, – и китайское посольство в Белграде, в которое угодила после месяца ночных бомбежек «высокоточная» бомба американцев.

Так началась весна. Но это были еще цветочки.

1-го апреля раздалось два телефонных звонка из Германии. Сначала Боря-шутник сообщил нам, что умер Ельцин, и разоржался, еще не договорив. Затем хозяин ясеневской квартиры, живущий теперь в Берлине переводчик, предупредил о своем приезде через три дня. В тот же день у нас оборвалась одна из книжных полок над гостевым диваном, пришлось перебивать их все, и стало понятно, что это не первоапрельская шутка.

До того мы знали владельца квартиры только по голосу и дело имели с его доверенными лицами – оба были кандидатами технических наук. Первый, пожилой еврей-увалень Изя из города Чехова, ежемесячно приезжал с ночевкой, забирал деньги и вносил их на валютный счет хозяина в Сбербанке. На обратном пути он отоваривался сигаретами и питьевым спиртом у Белорусского вокзала и с небольшой выгодой сбывал их ларечникам в своем городе, потому что, имея полсотни изобретений, оказался не нужен той науке, которой отдал все жизненные силы. Он был холост, тих и улыбчив, а толстые линзы в роговой оправе придавали его взгляду беззащитное выражение. В Москве жил его старший брат, но уже при нас он уехал в семьею на ПМЖ в Америку, и Изя словно окончательно осиротел. Он притащил в ясеневскую квартиру несколько коробок со скарбом, оставленным братом, и предложил братья оттуда, если нам что-то понадобится – занавески, столовые приборы, посуду. Той осенью Изя пригласил нас приехать к нему на грибную охоту, но позвонил и перенес встречу на неделю, а через пару дней повесился. За полгода до того он одолжил где-то тысяч пять долларов, купил разбитый «газон» за пятьсот, чтобы ездить в Москву за товаром, нанял автослесаря и шофера в одном лице (с его зрением сам водить машину он не мог), открыл собственный ларек и нанял продавца. Насколько я понял по его озабоченному виду и туманным намекам, кто-то его «кинул» с этим долгом – вернуть его он был не в состоянии, и из-за пяти тысяч человек повесился. Или его повесили, в чем я был почти убежден: рыхлый «жид» с личным водителем в Московской области, где даже в автобусах и электричках градус ненависти растет с каждым километром по мере удаления от «зажравшейся» столицы. В Москве у Изи обнаружилась еще и сестра. Меня позвали на кремацию и на поминки по самоубийце, показали какие-то его последние записи, которые явно говорили в пользу моего предположения. Решительным человеком он не казался, хотя, может, просто безмерно устал человек и смысла не видел больше барахтаться. Синеватое, какое-то жабье лицо удушенника, лежащего на платформе перед дверцей топки, и торжественная музыка откуда-то из-под потолка, – сильное впечатление первого года нашей ясеневской жизни. Следующий кандидат наук был русским невrastеником и любопытным утопистом, но толку было от него хозяину в практическом смысле, как от козла молока. И вот после нескольких лет отсутствия на родине владелец жилья с опаской возвращался в собственную квартиру в незнакомой стране. Один мой приятель-эмигрант ехидно окрестил это «подвигом труса», имея в виду самого себя.

К моему удивлению хозяин оказался не айдом, а неказистым остзейским немцем с водянистыми глазами, кислым выражением лица и губами карпа, осторожно пробующего на вкус лежащую в иле манную прикормку со спрятанными в ней крючками на поводках. Судя по всему, он был подкаблучником – в Берлин его занесла железная теща, 93-летняя немецкая коммунистка, отсидевшая лет двадцать в ГУЛАГе и поселившаяся в восточном Берлине еще

в конце 1970-х, а также жена-грузинка, сильно похожая, по его словам, на еврейку, – но ему не хотелось в это вникать. Он был «совписом» и еще в шестидесятые сумел побывать в странах Бенилюкса, что, естественно, вызвало подозрение не только у меня, но и у немецких властей, которые отказали ему в смене места жительства, аргументируя так:

– Вы являлись членом КПСС, состояли в интимной связи с режимом и пользовались привилегиями!

Он был возмущен незаслуженным оскорблением и доказывал чиновникам, что происходит из семьи репрессированных. По его словам, госбезопасность так настойчиво вербовала его в конце семидесятых в сексоты, что он вынужден был сбежать из Москвы на остров Сахалин и просидеть там до самой «перестройки»: ничего не вижу, никого не знаю. Именно там он подружился с отвязным молодым аккордеонистом, сосватавшим нам с женой через нечаянных московских родственников эту квартиру. Оба были меломанами. Теперь он подозревал этого аккордеониста, своего бывшего квартиранта, в пропаже напольных весов и каких-то книг. Мог пропить их и я, однако, приглядевшись к своим новым квартирантам, хозяин заявил на всякий случай:

– Жена Цезаря, как говорится, выше всяких подозрений!..

К тому же ему хотелось печататься в России, и он надеялся, что я, печатаясь и здесь, и в Германии, способен составить ему протекцию в изменившейся ситуации.

После перенесенного туберкулеза он не выносил табачного дыма, что осложнило мне жизнь на три недели его пребывания. Его невроз требовал постоянного звучания классической музыки. Поэтому он перетащил в свою комнату музыкальный центр и копался в книгах, бумагах и вещах, все время что-то насвистывая. Я понял, что не зря возненавидел когда-то то, без чего он существовать не мог. Он столовался с нами и постепенно приходил в себя. Что Изя не сам повесился, хозяин не сомневался – а он знал его куда лучше меня, но и в эту историю ему не захотелось вникать. Только его испугом, страхами и опасениями, можно объяснить, что нам удалось пересмотреть плату за квартиру после недавнего дефолта и уменьшить ее почти вдвое. Он показал мне подборку объявлений по Ясенову, скачанную его доверенным лицом из Интернета, я показал ему газету «Из рук в руки» с ценами наполовину ниже, и мы договорились. Безапелляционный солнечный идиотизм и ангелы всегда мне помогали. Напоследок он нас познакомил со своим сыном от первого брака. Парень работал в банке, был воцерковлен, безуспешно трудился над обращением собственного отца, да нечаянно оскоромился нашим красным борщом, – осенью он еще преподнесет нам сюрприз. С хозяином мы сговорились об августовской «рокировке»: мы в отпуск, а он опять в Москву на месяц.

Занятно, что покинувшие страну на пороге 90-х по-настоящему боялись в нее возвращаться, но, сделав это раз, стремились повторить опыт как можно скорее. Потому что ТАМ для них часы останавливались на дате отъезда, начинали идти или нет другие, эти же стояли, и вдруг оказывалось, что ничего подобного – ЗДЕСЬ они не только тикали и бим-бомкали, а бежали. Бывший московский художник, посетив Москву после десятилетнего перерыва, по возвращении в Кёльн покаялся перед бывшим московским поэтом:

– До сих пор я думал, что ты врешь ВСЁ! Прости.

После чего приехал уже надолго, снял здесь студию и погрузился в омут столичной жизни. Это было лучше, чем, сидя на социале или вэлфере, без полового довольствия и в изоляции, выяснять, чье всемирно-историческое значение в искусстве или литературе больше.

На Пасху мы с женой пекли куличи, красили яйца и ходили гулять в Узкое, где на прудах еще держался подтаявший лед и сидели рыбаки. Прутики вербы в банке выпустили листики, а затем и белые корешки. Мы высадили их перед подъездом, хотя никаких шансов приняться в утрамбованном глинистом грунте у них не было – разве что чудом. Без всякого перехода установился жуткий зной при все еще работающем отоплении. Вообще, тяжелее жары, чем бывает в Москве, я до того не переживал. Вроде бы и север, а на деле – жесткий континент-

тальный климат и гигантская чугунная сковородка, посреди которой шкворчит, как глазунья, Москва. Плюс железобетон, который какой-то совковый «зодчий» догадался украсить плиткой шоколадного цвета. Снаружи температура уже упала, а такой дом еще несколько суток остывает. Когда днем за тридцать по Цельсию, еще можно как-то жить, обливаясь потом: погонять воздух вентилятором, раздеться догола, постоять под душем, полежать в ванне, попить айрану со льдом. Но когда ночью температура в квартире перестает опускаться ниже плюс тридцати, к концу первой недели начинает ехать крыша. А в город выберешься по делам – плавится асфальт, зев метро пышет жаром, как горячий цех, пол-Москвы на дачах. Жене я попытался объяснить:

– Понимаешь, мы не должны завидовать москвичам, над благосостоянием каждой семьи здесь потрудились несколько поколений... – ну и т. д.

Она слегла с воспалением легких на второй год работы в Москве, не имея медицинской страховки, в самый разгар летнего зноя, когда начинают дымиться торфяники в Подмоскowie. Было так скверно, что я купил цветной телевизор 14 дюймов по диагонали и вынашивал план, как одним махом вытравить двух зайцев – летние пожары и нелегальных иммигрантов. А именно: не гасить торфяники, а наоборот, поджечь и дать им выгореть дотла. Придется потерпеть. Для этого всем, имеющим московскую прописку, выдать бесплатно противогазы или путевки куда-нибудь – остальные разбегутся сами.

Весной 1999 года собиралась уехать и уехала таки в начале мая моя дочь – эмигрировала из Львова в Израиль. После Нового года ее новой родне удалось что-то там доказать в еврейском посольстве в Киеве. Ее свекор был сыном русского коммуниста и еврейки, расстрелянных немцами в Таганроге в войну, – это и было тем, что требовалось доказать, чтобы еще четверо поднялись с насиженного места и отправились в перелет на юг, где не бывает зимы, но нет и злой бедности для стариков, и есть надежда начать новую жизнь для молодых. По существу, я ничем не мог помочь дочери, и потому не имел права препятствовать этому. Я и себе-то не очень мог помочь. Хотелось только, чтобы дочь все же понимала, на что решается. Она единственная из всех четырех что-то зарабатывала до отъезда платными уроками английского и даже умудрилась выучить иврит. У женщин в нашем роду почему-то всегда были хорошие зубы и способности к языкам – тогда как у мужчин ровно наоборот. Со своим будущим мужем дочка встречаться начала еще в школе. На мой вопрос, как у них с деньгами, он отвечал по телефону с оттенком обиды:

– Вы же знаете, что я нигде не работаю.

С приятелем он собирал и ездил продавать в Киев громоздкие телефонные аппараты с определителем номера, но выручки едва хватало на дорогу. До отъезда единственный раз он вострепнулся, прочтя подаренную мной книгу «Думай и богатей» одного американца (мне приходилось покупать книги для рецензирования, от которых я потом избавлялся, американец же сам разбогател на тиражах, только когда принялся учить богатеть других). К моему удивлению эта незатейливая книга перевернула жизнь малого – он усвоил из нее одну главную заповедь: научись желать по-настоящему и действуй. И для начала он выиграл в радиовикторине дешевую фото-«мыльницу», чем был невероятно горд.

Его сухого костистого отца судьба закинула во Львов после суворовского училища. Здесь он женился на толстушке, темпераментной и чувствительной галичанке, больше похожей на полтавчанку, заговорил на «мове» и непонятным образом превратился в западноукраинского националиста. Смешно, что в Израиле столь же загадочным образом он очень быстро обратился в местного «ястреба» и никогда не упускал случая отпустить что-то бранное в адрес палестинцев, пока я просил позвать мою дочь к телефону. При знакомстве он рассказал мне, что он бывший метролог, в свое время зачем-то прочел «Улисс» Джойса, а работу в ларьке оставил, когда за водкой по ночам стали являться с огнестрельным оружием – тут уж заточен-

ная арматура, которую он держал под прилавком, не смогла бы ему ничем помочь. А его жена подарила мне наволочку для подушки с украинской вышивкой и неожиданно призналась, что какой-то ловелас разбил ей в девичестве сердце: «Я любила его, а он любил... женщин».

Когда вопрос об их отъезде был решен и разрешение получено, моя дочка переболела воспалением легких. Когда-то я осторожно просвещал ее на счет причины и смысла болезней – но в чем-то таком можно убедиться только на собственном опыте и только глядя вспять. Теперь мне предстояло поехать проститься с моей девочкой, выросшей в семье, в которой женщины уже в нескольких поколениях любили котов больше, чем мужчин.

В город приехала также моя тучная и одышливая мать, и задним числом я понимаю, каким очередным ударом явился для нее отъезд внучки. Капля камень точит. Мы встретились втроем и попрощались у тетки в старой запущенной квартире на улице Чекистов, выходящей на фасад львовской Политехники и уже как-то переименованной. В полутемных комнатах орало три телевизора. В одной лежал инвалид, в другой сидел безработный бездельник и анти-семит, от которого ушли жена с дочкой, в третьей был накрыт стол, а на кухне строгают салаты и варят манты старухи-близнецы. Сырой двор-колодец, облупленный балкон по периметру, на который кто-то выставил фанерный шифоньер и сломанный стул, перегороденная стеной щель между домами, где виден другой такой же двор, только утопающий в зазеленевших кронах старых лип. Жестяные кровли и верхние этажи залиты ласковым вечерним солнцем, перекликаются скрипучими голосами в небе стрижи. У бабки с внучкой глаза все время на мокром месте. Я сфотографировал на балконе дочку – и мать с тетками за столом. Потом окажется, что это был последний прижизненный снимок моей матери: редкие волосы, обесцвеченный взгляд в объектив и наведенные яркой помадой губы.

Мне предстояло еще провести ночь в квартире с новой родней дочери накануне отъезда. По-хохлацки много ели и пили, выходя покурить на балкон, где бывшая жена вдруг спросила:

– Ты не хочешь меня поблагодарить за то, что я вырастила тебе такую дочь и не мешала с ней видаться?

Она намекала на мой второй брак. Убывающая прогрессия, но не ей было об этом судить. В ее подкрашенных черной тушью глазах, на разросшемся за прошедшие годы и для кого-то все еще красивом лице, прятался взгляд, исполненный робости, кокетства и дерзости. Словно ей померещилось, что что-то можно вернуть. Это был запрещенный прием, и я ответил ей тем же.

– Знаешь, плата за предательство – смерть. Мы умерли друг для друга много лет назад, и общего у нас сегодня только то, что ты когда-то родила от меня дочь. Ничего больше.

Ее взгляд остекленел, и я почувствовал себя извергом, обидевшим ребенка, но раскаяния не испытал.

Наша дочь находилась всю ночь на грани нервного срыва, и я пытался ее успокоить.

– Ну ты что?! Дело сделано – остается отправиться в путь. Отнесись к дороге как к приключению, ты ведь еще не бывала за границей. А уже через пару дней тебя ждет «вита нуова», постарайся быть в ней сильной!.. Больше всего мне хотелось бы построить когда-нибудь дачный поселок под Москвой, какую-нибудь Кацаповку, куда перетянуть всех близких. Держись, дочка! – И неожиданно добавил: – Будь умницей.

Так обычно говорила мне на прощанье и заканчивала свои письма мать.

Автобус, увозивший целую группу новых эмигрантов в Варшаву, откуда вылетать им charterным рейсом в аэропорт Бен-Гурион, приехал часов в пять утра. Все забегали, засуетились, забили баррахлом багажники и салон, выскочили сфотографироваться напоследок с родней, с толпой бодрящихся друзей и плачущих соседей. Безоблачное небо, обещало жаркий день. Прохладное и солнечное утро начала новой жизни и смерти – смерти здесь, жизни там. Перегруженный автобус, покачиваясь, вырулил из внутреннего двора на широкую Научную и понесся в направлении польской границы. Остались тишина, легкость и пустота в душе, похо-

жая на счастье уцелевших после взрыва. Я тоже вышел на Научную, поймал машину и через день поспешил уехать в Москву.

Вот уже десять лет мне снится один и тот же тягостный сон, в котором меняется только состав участников и степень разрухи в родительской квартире или бывшей витражной мастерской: прощание с близкими и не очень перед отъездом навсегда. Близость отъезда бодрит меня, а куча мелких дел и невыполненных обязанностей, отложенных на последний день, угнетает. Пол перед мастерской залит илистым селом, сошедшим с Цитадели, окно выбито, в родительской квартире щели в полу, разбит унитаз и входная дверь не закрывается, в комнатах неприбрано, какие-то незнакомые люди дожидаются чего-то, а те, которых знаю, ведут себя странно или спят вповалку. Предстоит еще застолье, а я никак не могу вспомнить что-то важное, собраться с мыслями. Греет только, что потерпеть осталось немного. Уехать я уеду еще сегодня – хоть с пустыми руками и только в том, что на мне.

Каждый приезд в оставленный город давался мне все тяжелее. На этот раз он был обклеен афишами Кашиповского: «Я пришел воскрешать живых».

– Ты опоздал, парень! – твердил я про себя, проходя по улицам, знакомым в мельчайших подробностях и так интимно, как можно знать только собственное тело. Бродил и переставал его чувствовать.

Что-то здесь сдохло, как в лесу. Улетучилось куда-то или в никуда все молодое, энергичное и жизнеспособное прежней поры, и покуда не потрудятся родильные щели и не прекратится отток и убыль людей, ничего не изменится. При том что каждый львовский двор походил на детский питомник – обилие молодых мамаш, колясок и пеленок после Москвы бросалось в глаза. Этот город бывал процветающим и бывал депрессивным, теперь это был омертвелый город. К концу девяностых в Москве почти исчезли, а во Львове неожиданно появились мертвецы пьяные, валяющиеся прямо на городских тротуарах. Умирание города как живого организма лучше других описал Булгаков, врач и морфинист, – заодно с гримасами «незалежности» на фоне гражданской смуты. Тысячелетний Киев тогда на пятнадцать лет оказался задвинут на периферию пролетарским и конструктивистским Харьковом.

Оскудела арена городской жизни даже по сравнению с сереньким и кумачовым советским периодом, оттого что однообразие противно природе города и губительно для него. С исчезновением кровожадного имперского идола утратила силу и санкция оправдания собственного ничтожества. Замерли огромные заводы, работавшие на войну и космос, перестали расти спальные районы, пришли в запустение старинные парки и городские кинотеатры, стадионы превратились в барахолки. Кучи разобранной брусчатки и вынутые из мостовой, как жилы, трамвайные рельсы на обочинах. Выгоревшие дома на центральной площади, ренессансные палатки с зияющими окнами и стенами, подпертыми балками от обрушения. Лужицы жизни плескались теперь только в уютных семейных ресторанчиках, крошечных офисах, редакциях и частных учебных заведениях, да юркие турецкие микроавтобусы для стоячих пассажиров спасали город от некроза тканей. Возникла ночная клубная жизнь, появились сотни открытых за полночь кафе и пивных под каштанами и вековыми липами в теплое время года, но меня не оставляло чувство, что на улицах и площадях города недостает коз, пасущихся овец и домашней птицы, и это время не за горами. Студентом мне хотелось учинить какую-то массовую бучу перед университетом – но теперь и на площадку у памятника Франко, перед старинным парком Костюшко с подкрашенными толченым кирпичом аллеями, и на громаду «альма матер» напротив я глядел с равным отвращением.

За трое суток я немало успел. Проводить дочь и увидеться с матерью. Забрать сына из школы, покормить его в ресторане и передать с ним деньги – потому что его мать когда-то устроила мне «нагорный карабах» на дому и после развода сразу бросала телефонную трубку, только услышав мой голос. Она сменила жилье, перевела его в другой детсад, а в школу отправила под своей фамилией. Это моя мать настояла, чтобы я разыскал сына, потому что бывшая

жена намеренно рассорилась с моими стариками и методично продолжала обрезать последние нити, ведущие к нему. За одно нечаянное упоминание обо мне, как рассказала мне мать, ее внук падал на колени перед невесткой и умолял простить его. Бабушке он говорил: «Я так тебя ждал!» Хочешь увидеть лицо ада – нанеси женщине смертельную обиду. Еще когда все у нас было сравнительно безмятежно, помню, как раздражало ее, когда при купании младенец доверчиво укладывал свою курчавую головку подбородком на мою ладонь, работая конечностями, как лягушонок, и я приговаривал: «Ты мой русский мальчик!..» А кем еще он мог быть: русско-украинско-польско-литовский армянин?! Проведя целое частное расследование, я обнаружил его в одной из уцелевших русских школ в старой части города. Завуч и классная руководительница пилились на меня попеременно с удивлением, ужасом, презрением и любопытством и разве что паспорт не потребовали предъявить:

– А, папочка объявился!..

Бог весть, что наплела в школе моя бывшая жена, и как удалось ей подмять и обабить нашего, теперь уже все более «ее» сына, до того проявлявшего, как всякий запоздалый ребенок, задатки будущего атамана.

Я воспользовался случаем показаться знакомому стоматологу, который назвал фантастическую для меня сумму и назначил август последним сроком, когда можно будет еще попытаться что-то сделать. Кое-кто из старых знакомых повстречался мне на улицах. После отъезда дочери витражисты уговорили приготовить шашлык на костре у подножия Кайзервальда, и я набрался с ними – долго ковырялся ключом в двери и заснул на полу в прихожей пустующей квартиры. Еще успел заплатить за свою мастерскую и в последний вечер собрать в ней тех, кого называл про себя «остатками разбитой армии». Пришли даже те, кого не звал. После шумного застолья, как обычно, всей компанией меня проводили на вокзал к ночному поезду на Москву. Невольно я служил для них последней ниточкой, которая как-то еще связывала их друг с другом. Никто не жаловался, напротив, все словно бравировало дурными новостями, соревнуясь в висельном юморе, от которого весельем и не пахло. Из всех художественных мастерских под Цитаделью моя подвальная субмарина оставалась последней, и та уже много лет пустовала. Но я не мог и предположить тогда, какой ждет ее бесславный конец, вместе со всем моим прошлым.

Сосед-пенсионер сверху, целыми днями торчавший из окна и от мнимой духоты плескавший воду на тротуар под окна мастерской, наконец, врезал дуба. Жены старых друзей сменили мужей и любовников в пределах того же круга – как перетасовывается колода карт или переукладываются опарыши в банке, если ее встряхнуть. Чья-то дочка танцевала теперь в турецких клубах с удавом на шее. Чей-то брат разбился насмерть со второй попытки в автокатастрофе. Спившегося танцовщика балета со следами побоев нашли мертвым под дверью собственной, теперь ничьей, квартиры. Безработный филолог и непризнанный художник пустил квартиранта и занялся на дому шитьем рабочих рукавиц. Беззубый архитектор и бывший галерист зарабатывал постройкой каминов и мечтал устроить в Швейцарии боди-арт с собственной женой, тоже бывшим архитектором (их сына-биолога зарежут через пару лет в Одессе из-за клетчатой сумки челнока, а безработный сын школьного товарища и ровесник моей дочери тогда же повесится, после двух непродолжительных отсидок). Кто-то зашел попрощаться перед отъездом в Германию по еврейской квоте. Офицер запаса, не так давно работавший на советский космос в НИИ, потерял место почтальона в инофирме, где за полцены вместо него наняли двух юношей. Два его шурина умерли, племянник разорился, бизнес жены прогорел, и она подалась с индусом, своим бывшим студентом, в Москву. Он попросил меня на перроне:

– Если встретишь ее там, и она захочет вернуться домой – только если сама заговорит с тобой об этом! – одолжи ей полсотни баксов на дорогу, я отдам.

Неожиданно для себя он оказался в огромной запущенной квартире без дверного звонка наедине с подслеповатой, глуховатой и усатой тещей, проработавшей всю жизнь водителем

такси. Тещину квартиру они с женой продали, чтобы спасти тонущий лоточный бизнес, но это не помогло. Единственной его отрадой являлись теперь брехливая колченогая собачонка и упорно не желающий разговаривать внук, подкинутый дочкой. А виновата во всем, по его мнению, была Россия:

– Она нас бросила! – заявил он.

– погоди, ты же сам голосовал за Рух и Черновола... – возразил я ему.

– Я голосовал против коммунистов, как и ты!

– Хорошо, но украинское гражданство ты принял добровольно?

– А что, у меня был выбор?! Они не имели права в Беловежской Пуще распускать Союз.

– Здрасьте, сказка про белого бычка. Тебя достает твоя «держава», а виновата в том Россия!

– Да, она нас предала!..

До того он подрабатывал еще в киевской медико-фармацевтической фирме – встречал и сопровождал деловых партнеров. Однажды ему пришлось обедать с американцем, купившем по дешевке в Закарпатье недостроенное здание оборонного завода, чтобы наладить там выпуск презервативов. Они сидели в ресторане советского времени на средневековой площади Рынок. Кухня дрянь, обслуживание не лучше, интерьер говенный, а американец тащится так, что усидеть на стуле не может. Наконец, спрашивает:

– Вы не знаете случайно, когда построено это здание, где мы сидим?

И мой приятель вдруг понимает, что не только в удачной сделке причина его загадочного кайфа:

– Оно построено примерно тогда, когда Колумб открыл вашу Америку.

Впрочем, что американцу в кайф, то галичанину гоплык. Так знакомый архитектор и патриот города вернулся назад из-за океана, когда не смог ответить на простой вопрос: «Если вы жили в таком прекрасном старинном городе, что вы делаете в нашей унылой одноэтажной Америке?!» Вернулся – и очень скоро умер.

Успешным и процветающим являлся единственный из моих гостей, за что его дружно все цапали, а он отшучивался. Мои бывшие коллеги, – реставраторы, художники, литераторы, – будто соревновались, кто скорее и хуже кончит, – здесь или в Киеве, – разобьется или покончит с собой, получив глянцевого журнала или телепрограмму в свое распоряжение. Он же из тихонько-программиста и переводчика на «мову» Хайдеггера и Гадамера сделался, пойдя во власть, кем-то вроде галицийского «министра без портфеля». Положение позволило ему хорошо обустроиться, отселив соседей и тестя с тещей, в огромной двухэтажной квартире в самом центре города. А также колесить по свету, издавать на немецкие деньги украинский журнал для интеллектуалов, завести еще одну семью и сына, от чего младшая из его дочерей перестала с ним разговаривать. Той весной он принимал во Львове Бжезинского с женой и теперь занят был сочинением статьи для американцев. Его ум всегда попадал в странную зависимость от прочитанных книг и собеседников. При всей образованности, если раньше он настаивал на том, что украинское государство, а не родители, имеет право решать в каких школах учиться их детям, то теперь с группкой свежиспеченных профессоров, пока что с оговорками, обосновывал необходимость и оправданность перехода с кириллицы на латиницу. Когда-то мы были друзьями. Нацы, по-прежнему, ненавидели его – уже не как идейного противника, а как преуспевающего чиновника. Он гордился тем, что фигурирует в их списках на уничтожение, но это была теперь только фронтальная интеллектуала.

Мне напомнили за столом, что старый галицийский профессор хочет со мной познакомиться после выхода книги. Из-за недостатка времени я предложил встретиться с ним в августе, не подозревая, что этого уже не произойдет. В конце мая этот профессор из числа «последних могикиан» поедет на конференцию в соседнюю Польшу, а домой возвратится золой в урне из-за проблем с медицинской страховкой – никому не захочется возиться с телом.

Шла невидимая война неизвестно кого с кем, с огромными потерями без всякой канонады и перестрелок. Исторический мор прорежал поколение за поколением, беспощадно вычесывая гребенкой всех не способных к большим переменам. Почти никто к ним не был готов, как и к *децимации* за отказ изменяться. За вычетом стана обреченных, стариков, какой-то шанс представлялся почти каждому, но в подавляющем большинстве случаев люди оказывались не способны не только воспользоваться своим шансом, но даже опознать его. Его и невозможно опознать, будучи не твердыми ни в чем.

Мой вагон оказался последним в поезде. Его нещадно раскачивало на ходу – и всю дорогу до Москвы я выходил покурить в тамбур у окна заднего вида, из-под которого вытягивались, как макароны, нескончаемые рельсы и уползали по шпалам за горизонт. Будто нарочно кто-то все это подстроил.

В поезде мне снились сны о плавании – то на снятой с петель притопленной двери, через Неву к Петропавловской крепости и обратно; то на прогулочном теплоходе по ручейку, текущему по булыжной мостовой, в окружении глухих каменных стен и итальянских вилл с террасами и висячими садами; то на вздувшейся волне прибывающего наводнения, посреди песчаных холмов и редколесья, – особая жуть заключалась в кристальной прозрачности воды, последовательно отрезавшей все пути к спасению, прежде чем смыть меня и унести.

Я поздно научился в снах левитировать, в детстве мечтал быть моряком и всегда обожал железную дорогу. Может, наложение забытых грез и инфантильных страхов, под стук колес и раскачивание вагона, вызвало эти сновидения? А возможно, навяли истории попутчиков. По пути туда – разведенной жены алма-атинского генерала с сыном, ехавших подлечиться в Трускавец. После распада страны и советской армии она ушла от мужа «в одной норковой шубке», по ее выражению, и уехала к сыну в Мурманск. Тот после недолгой службы офицером на кораблях Северного флота занялся малым бизнесом. Они рассказывали наперебой о своей замечательной дочери и сестре, попавшей по обмену в шведский университет. В данный момент она уже много месяцев находилась по гранту на Большом Барьерном рифе и ждала натурализации, выйдя замуж за австралийца, чтобы от антиподов перебраться сразу в Штаты. А по пути обратно моей единственной попутчицей в купе оказалась мукачевская матрона, бывший товаровед. Муж – директор техникума на пороге пенсии, в Москве – брат, старый холостяк. Я заговорил с ней о недавнем наводнении в Карпатах – оказалось, оно произошло и по противоположному склону гор и докатилось до Дуная. Ее сын в Мукачево выглянул в окно и в вечерних сумерках не увидел собственного забора. Выйдя во двор, вдруг обнаружил, что забор уже под водой, и она подбирается к порогу его дома. За десять минут он с женой вынес на пригорок детей и выгнал туда же свиней из сарая. Там они и просидели несколько дней над своим затопленным домом, покуда вода не спала. Да и сама матрона, оказалось, едет не столько в гости к брату, сколько отовариться на стадионе им. Ленина шмотками, чтобы торговать ими у себя. Напоследок она призналась, что ее свекром был двухметрового роста личный охранник Сталина, после смерти Хозяина осевший в Киеве.

Вот и образовался у меня в голове замес из Барьерного рифа, карпатского наводнения, памяти детских страхов глубины и всего того бреда, которым я напился, как губка, в своей поездке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.